БИТВА ЗА МОСКВУ

8

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за москву 1941 - 8

«Автор»
2026

Сорокин С.

Битва за москву 1941 - 8 / С. Сорокин — «Автор», 2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосьмилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

© Сорокин С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 6
Глава 2 14
Глава 3 22
Глава 4 30
Глава 5 38
Глава 6 46
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Сергей Сорокин
Битва за москву 1941 - 8

Москва 1941 Том 8

Глава 1

Дорога шла лесом, и снег на ней был разбит в бурую кашу до самой земли — прошли до нас и пехота, и повозки, и кто-то тяжёлый на гусеницах, — а по краям, под елями, лежал ещё белый и чистый, и от этого середина дороги казалась особенно грязной.

Тягач шёл третьим от головы колонны, и за ним на крюке качалась сорокапятка с передком.

Я шёл сбоку, шагах в десяти, по обочине, где нога проваливалась, но хотя бы не скользила, и слушал. Не потому, что понимал в моторах, — я в них не понимаю почти ничего, — а потому, что за трое суток этот мотор стал для меня таким же предметом наблюдения, как немецкий пулемёт: у него есть свой обычный голос, и если голос меняется, то меняется что-то ещё.

Пока он не менялся. Он тянул ровно, тяжело, с той низкой трудовой нотой, которая у трофейной машины была, кажется, единственной.

Тимохин сидел на подножке справа, прижавшись плечом к дверце, весь сизый от холода, и смотрел не на дорогу, а куда-то вбок и вниз, под кожух. На остановках он менялся со мной, отогревал ноги в кабине. Теперь, на малом ходу, опять слушал машину снаружи.

Вера Самойлова шла впереди, у передка, рядом со своим первым номером, и я видел её спину в короткой шинели и то, как она через каждые несколько шагов оборачивалась — не на меня, а на орудие, проверяя, как оно идёт по колее.

Всё было хорошо ровно до того места, где дорога пошла в небольшой подъём и сузилась.

Тимохин застучал по дверце. Жаров сбавил до остановки; только тогда парень спрыгнул, обошёл машину и сунулся в левое окно. Я не слышал, что он сказал. Я увидел, как Жаров повернул голову, выпрямился, и рука его сама пошла вниз, к рычагу.

Тягач сбавил и покатился.

— Стой! — крикнул Жаров в окно, и потом уже мне, потому что я успел подойти: — Гринёв, я встаю. Не здесь. Вон за поворотом, там обочина шире, я колонну не запру.

— Что у тебя?

— Потом, сперва встанем.

Он провёл машину ещё метров сорок — медленно, почти шагом, — и поставил её у самого края, так что правая гусеница ушла в целину и тягач осел набок, но проход остался: повозка пройдёт, и даже полуторка пройдёт, если возница не дурак.

Мотор он заглушил не сразу. Подержал ещё немного на малых и только тогда выключил.

В наступившей тишине стало слышно, как впереди, за лесом, кто-то далеко и лениво постукивает — не очередями, а одиночными, будто и правда постукивает молотком по железу.

Я послушал далёкие выстрелы и повернулся к машине.

— Ну, — сказал я.

Жаров вылез, обошёл машину и открыл кожух. Оттуда пахнуло горячим — не соляркой, а именно горячим железом, тем сухим запахом, который ни с чем не спутаешь.

— Тимоха, — сказал он Тимохину, — что слышал?

— Не так. — Тимохин топтался рядом и тёр нос рукавицей. — Он на подъёме... там раньше было одинаково, а сейчас как будто через раз проваливается. Чуть-чуть. И повизгивает.

— Повизгивает, — повторил Жаров. — Правильно. Значит, буксует.

Он наклонился и посмотрел на ремень — тот самый, подогнанный им перед рассветом из приводного немецкого, с генератора, который мы взяли на складе; вырезанный, подогнанный, сшитый и проверенный на холостом, на коротком круге и на пробной нагрузке, и уже тогда показавший ту светлую нитку у края, из-за которой мы теперь шли с остановками.

Тимохин присел рядом и потянулся к кожуху горстью снега.

Жаров взял его за запястье. Не резко — но так, что рука остановилась.

— Не надо, — сказал он.

— Остудить же.

— Остудить. Ты его остудишь с одного боку, а с другого он останется горячий, и на стыке у тебя всё поведёт. Металл этого не любит, а резина тем более. Пусть стоит. Само уйдёт.

— Долго? — спросил Тимохин, всё ещё сидевший на корточках с горстью снега.

— Сколько надо. — Жаров разогнулся и потёр поясницу. — Гринёв, четверть часа минимум. Меньше не проси.

Я не стал просить.

Я обернулся и посмотрел, где мы встали. Просека была узкая, справа склон вверх и ельник, слева канава и кустарник, и над дорогой, метрах в трёхстах впереди, начиналась прогалина — вырубка, старая, с пнями, и через неё дорога шла открыто.

Мы стояли на границе: ещё под лесом, но уже почти на виду у того, кто смотрит с прогалины.

— Юдин, — позвал я. — Возьми Пестерева и двоих, вперёд до конца ельника, до последних деревьев. Дальше не выходить. Смотреть на вырубку и на левый край, там канава тянется.

— Есть.

— Хвостов, назад двести шагов и на изгиб. Если сюда по дороге кто-то пойдёт — не немцы, свои, — придержишь и объяснишь. А то они нам тут за десять минут пробку сделают в три ряда.

Хвостов кивнул и пошёл, на ходу поправляя ремень.

Люди начали было сползаться к тягачу — просто так, погреться о тёплое железо, посидеть, — и я развёл их с дороги в кусты по обе стороны, парами, как привык, потому что стоящая машина на просеке есть готовое место для чужой мины.

Вера подошла, стянув рукавицу, и сунула руку за пазуху — греть.

— Надолго?

— Четверть часа. Он сказал минимум, значит, будет двадцать.

— У меня приказ выйти на рубеж до темноты.

— И у меня.

— Гринёв, ты понимаешь, что если мы встанем ещё два раза, я привезу пушку к шапочному разбору.

— Понимаю. Поэтому давай сделаем так, чтобы третьего раза не было.

Она посмотрела на меня внимательно.

— Что ты придумал?

— Ничего я не придумал, — сказал я. — Арифметика. Он тянет пушку, передок и десять ящиков первой очереди в кузове. Ящики весят ровно столько же, сколько весили вчера, а ремень уже не тот. Значит, надо снять то, что можно снять.

— Снарядов не отдам.

— Я не прошу отдать. Я прошу разделить.

Расчёт у неё был неполный — семь человек вместо девяти, — и по её лицу я видел, что она сейчас скажет: моим людям ещё орудие на руках выкатывать на позицию, и если они придут туда пустые, но без сил, то это будет хуже, чем не прийти.

— Половину возьмём мы, — сказал я, пока она не сказала. — Моё отделение и те, кто идёт с нами налегке. Не всё — половину, и не в руках, а на закорках, в две ходки. Первая ходка идёт сейчас, до вон того места, где дорога заворачивает: там пеньё и куча хвороста, я смотрел, ящики поставим и оставим пару людей. Вторая ходка — когда тягач пройдёт вперёд и разгрузится.

— Ты моим снарядам назначил ночлег в лесу, — сказала она.

— Я им назначил охрану. Два человека и место, которое я вижу отсюда.

Она подумала.

— Какие берёшь?

— Это тебе решать. Какие тебе нужны первыми, когда ты станешь на позицию, — те пусть едут в кузове. Какие вторыми — те понесём.

Вот это её примирило окончательно. Она пошла к машине, поднялась на ступеньку у борта и стала показывать первому номеру: этот, этот и вон те три оставить, а вот эти вниз.

Я поставил людей цепочкой. Ящики шли из рук в руки, и каждый, приняв, делал три шага в сторону и передавал дальше, и на этом коротком движении сразу видно стало, кто сегодня уже вымотан: Дёмин принимал левой и подставлял колено, потому что кисть у него после декабря так и не стала прежней.

— Дёмин, ты в цепи не стой. Иди к Хвостову на изгиб.

— Товарищ сержант, я могу.

— Можешь. А завтра не сможешь. Иди.

Он ушёл, и по спине было видно, что обиделся, и я решил, что объяснюсь с ним вечером, когда будет время; сейчас времени не было.

Жаров тем временем лазил по своей передаче с фонарём, хотя было светло, — фонарём он подсвечивал в глубину, под кожух.

— Тимоха, тряпку. Нет, сухую.

Он вытер что-то, приложил палец, посмотрел на палец.

— Ну вот, — сказал он. — Смотри сюда. Видишь, где он ходит? Он ходит не по середине. Он сюда тянет, к краю. Оттого и край у него треплется, а не потому, что резина плохая.

Тимохин пригнулся и смотрел долго.

— А почему тянет?

— Потому что перекос. Где-то на полмизинца. Для доброго ремня это ничто, он такой перекос сожрёт и не заметит. А наш с тобой — не добрый. Наш из чужого куска, со швом.

— Поправить можно?

— Немножко можно.

Он взял ключ, выбрал упор, ослабил, подбил чем-то, снова затянул, и всё это делал медленно, по два раза примеряясь, и один раз даже вернул назад — видно, перебрал.

— Вот так, — сказал он наконец, разгибаясь. — Теперь он пойдёт ровнее. Но ты, Тимоха, запомни главное и не перепутай: я его не починил. Я ему облегчил жизнь. Он как был временный, так временным и остался, и он уже начал умирать, и я знаю, что он умрёт, я только не знаю когда.

— А как узнать?

— По звуку и по кромке. На каждой остановке смотрим, как договорились. Сегодня нитка одна; пойдёт новая бахрома — встанем. — Жаров вдруг хлопнул его по плечу, и Тимохин чуть не сел в снег. — Молодец, между прочим. Я на подъёме был занят рулём и слушал хуже тебя.

У мальчишки сделалось такое лицо, что я отвернулся, чтобы не мешать.

Мы прошли вперёд двести шагов до поворота и сложили пять ящиков у пней, под хворостом, и я оставил там Тихонова и молодого — того, что пришёл с последним пополнением и всё никак не мог запомнить, с какой стороны у него сектор.

— Слушайте оба. Отсюда не уходить, даже если мимо пойдёт вся дивизия и скажет, что вы им нужнее. Ящики артиллерийские, за ними придут наши же, вон тот тягач. Придут — отдадите под расписку в блокнот. Ясно?

— Ясно.

— Повтори.

Молодой повторил, сбившись один раз, и повторил ещё.

Я вернулся к машине. Жаров как раз запускал.

Мотор взял с третьего раза, схватил, выровнялся, и Тимохин влез на своё место на подножке, повернувшись лицом к кожуху, — теперь уже не по-мальчишески, а как человек, у которого есть должность.

— Пойду шагом, пока не прогреется как надо, — сказал Жаров в окно. — И ещё, Гринёв. Я тебе говорю при всех и буду говорить каждый раз: если я скажу «стоп», это будет не потому, что мне лень ехать.

— Я слышал в первый раз.

— В первый раз слышали все, а потом является кто-нибудь с двумя шпалами.

Тогда я ещё подумал, что он говорит вообще, для порядка.

Через двадцать минут выяснилось, что он говорил конкретно.

Мы прошли вырубку — быстро, растянувшись, не кучей, — и втянулись обратно под лес, и там дорога сразу встала.

Она встала не из-за нас. Впереди, метрах в двухстах, поперёк неё лежал завал: три сосны, сваленные крест-накрест, и с них не снятые сучья, и между ними набито ветками — работа не десяти минут и не случайного снаряда, а спокойная, с пилой. Немцы делали её, когда уходили, и делали с расчётом: место, где дорогу нельзя объехать, потому что справа склон, а слева заболоченная низина с редким мелколесьем, куда машина сядет по брюхо на втором метре.

Перед завалом уже собралось: две подводы, полуторка с будкой, какие-то люди с катушками, ещё подводы. Возницы кричали друг на друга. Кто-то пытался развернуться и уже загородил половину прохода.

А от полуторки к нам шёл капитан.

Он шёл быстро, широким шагом, и полы шинели у него разлетались, и ещё издали стало понятно, что он идёт не спрашивать.

— Чей тягач?

Я успел встать так, чтобы он вышел на меня, а не на Жарова.

— Сержант Гринёв. Машина за транспортной группой при батальоне, идёт по наряду с орудием.

— Капитан Орлов, — сказал он, не глядя на меня и глядя на тягач. — Отцепляй.

— Товарищ капитан...

— Ты слышал? Отцепляй пушку, разгружай кузов. Мой штаб стоит шестой час, у меня связь на колёсах и документы, и я должен быть за этим завалом ещё вчера. Машина пойдёт со мной.

— За завалом, — сказал я.

Орлов остановился, не дойдя до кабины.

— Что?

— Вы сказали — пойдёт с вами за завал. А завал лежит. Тягач ваш штаб через сосны не перенесёт.

Он наконец посмотрел на меня — коротко, снизу вверх по мне, хотя был со мной вровень ростом, и я знал этот взгляд: так смотрят, когда прикидывают, сколько времени займёт сломать.

— Завал растащат, — сказал он. — Тягач и растащит. У него лебёдка.

— Растащит, — согласился я. — Под огнём.

— Под каким огнём?

— Слышите?

Он прислушался. Постукивало по-прежнему, редко, лениво — и мне нужно было, чтобы он сам сложил эти звуки с тем, что видит.

— Там дальше немец сидит и держит выход из леса, — сказал я. — Мои у ельника его пока не видят, но он стреляет по одиночным. Как только на завале появятся люди с топорами и трос, он перестанет быть ленивым.

— Тем более, — сказал Орлов. — Тем более надо быстрее. Отцепляй пушку.

— Не отцеплю, товарищ капитан.

Он сделал паузу. Возницы сзади продолжали орать друг на друга, и на этом фоне его молчание было почти громким.

— Повтори.

— Не отцеплю, — сказал я. — Прошу вас отдать распоряжение письменно, и в нём указать, что орудие с боекомплектом остаётся здесь, у завала, до особого.

— Ты мне сейчас условия ставишь?

— Я прошу записать. Мне потом отвечать за пушку, которую я бросил на дороге.

— Ты будешь отвечать за неисполнение приказа старшего, — сказал он очень спокойно, и это спокойствие было хуже крика. — Я тебя под арест отправлю через пять минут, и поедет твой тягач всё равно, только уже без тебя. Тебе так больше нравится?

Я стоял и молчал, потому что понимал: он не блефует. Он мог. Капитан, не мой начальник, но старший, при исполнении, на дороге, где я ему мешаю, — мог.

И тут подошла Вера.

Она не козырнула, а просто встала рядом со мной, как становятся, когда уже решили встать.

— Лейтенант Самойлова, командир орудия, — сказала она. — Товарищ капитан, разрешите доложить по своей части.

— Ну.

— Если тягач сейчас уйдёт, орудие останется здесь. Резервная упряжка позади, но тяжёлый подъём с ней придётся брать отдельно, разгрузив передок. Вручную на руках по этой каше и в подъём мы его не выкатим и за три часа, а до темноты мне надо стоять на закрытой площадке за поворотом и работать по той точке, которая вас держит.

— Мне не нужно, чтобы вы работали. Мне нужно, чтобы вы не стояли поперёк.

— Мы и не будем стоять, — сказала она. — Мы подавим ему пулемёт, и ваша полуторка проедет своим ходом. Если вы заберёте тягач, вы получите машину, которая упрётся в те же

сосны и будет вертеться перед ними, как все эти, — она кивнула на подводы, — а пушка останется в километре сзади, и ни ей, ни вам это не поможет.

Он смотрел на неё, и я видел, как в нём воюют две вещи: неготовность отступать перед сержантом с лейтенантом и то, что она сказала правду, которую он уже знал сам.

— Товарищ капитан, — сказал я. — Один вопрос, и я замолчу. Назовите машину, которая возьмёт орудие, если эта уйдёт с вами. Любую. Хоть в вашей колонне, хоть в соседней. Я схожу и попрошу сам.

Он обернулся и посмотрел вдоль дороги — на подводы, на полуторку с будкой, на лошадей, которых уже начали разворачивать, — и я видел, что он честно посмотрел, а не для вида.

— У меня нет, — сказал он.

— И у меня машины нет. Резервные кони пушку с дороги снимут, но вашего штаба и нашего боекомплекта на них не увезти.

— Это не делает меня неправым, сержант.

— Это не делает вас неправым, — согласился я. — Это делает так, что мы оба стоим.

— Осипов! — крикнул я, не оборачиваясь. — Связь есть?

— Даю, товарищ сержант! — отозвалось из кустов.

Он сидел там с аппаратом уже минут десять, и я его об этом не просил, — он просто увидел, куда идёт разговор, и связался с постом на придорожной линии: оттуда через коммутатор дали ротного.

— Куда даёшь? — спросил Орлов.

— Своему командиру роты, — сказал я. — Я обязан доложить, что получил приказ, который отменяет мою задачу. Пусть старшие между собой решают, а не я с вами на дороге.

Это была единственная законная дверь, и я в неё пошёл.

Я спустился к Осипову в кювет и взял трубку. Бортников отозвался через полминуты, и голос у него был, как всегда, такой, будто он только что закончил долгий разговор с кем-то ещё и уже устал.

— Гринёв.

— Фрол Игнатьич, докладываю. Колонна стоит перед завалом на девятом километре. Тут же капитан Орлов, требует передать тягач его штабу, отцепив орудие Самойловой. Я отказал и докладываю.

Пауза.

— Дай его.

Я позвал Орлова к аппарату и передал ему трубку. Он взял её так, будто делал одолжение, и заговорил быстро, и по первым же его словам стало ясно, что он привык таким тоном добиваться.

Что ему ответили, я не разобрал; сквозь треск различил имя Лаврова и слова о задаче батареи. Орлов отступил на полшага от аппарата, насколько позволял шнур, и сказал:

— Десять минут? Товарищ старший лейтенант, у меня...

И потом, через паузу:

— Понял.

Он отдал трубку не мне, а Осипову, что тоже было своего рода ответом.

— Десять минут, — сказал он мне. — Ваш ротный берёт на себя и подтверждает приказ Лаврова. Через десять минут вы показываете мне, что тут вообще можно пройти, иначе я возвращаюсь к этому разговору, и уже не с вами.

— Согласен.

— Я не спрашивал согласия.

— Тогда, товарищ капитан, ещё одно. — Я сказал это раньше, чем он повернулся уйти. — Дайте мне вашего человека. Одного. Связного, кого хотите. Пусть он идёт с передней группой и видит своими глазами, что делается. Тогда через десять минут вы будете верить не мне.

Он остановился.

Я потом много раз думал, зачем сказал это, и решил, что не из хитрости, а из злости: мне надоело, что человек стоит и считает, будто я тут отлыниваю с чужой машиной.

Но вышло хитро.

— Крохин! — крикнул Орлов. — Ко мне.

Подбежал невысокий боец с сумкой через плечо и ещё не отдышавшийся.

— Пойдёшь с ними. Смотри и мне доложишь. Не геройствовать.

— Есть.

— Десять минут, сержант, — повторил Орлов и пошёл обратно к своим повозкам, и я видел, как он на ходу кому-то там что-то говорит, и как двое его людей начинают сгонять подводы к обочине.

Это тоже было кое-что: он начал разбирать свою же пробку.

— Вера, — сказал я. — Мне нужен твой человек при мне, чтобы принимал ориентиры. И нужно, чтобы ты была готова с промежуточной, не с той, что за поворотом.

— С промежуточной у меня будет один сектор и полтора метра земли под колёсами.

— Мне нужен один сектор.

Она кивнула и ушла к орудию, на ходу натягивая рукавицу зубами.

Я собрал своих у переднего катка тягача.

— Слушайте коротко. Завал растащим, но не сразу. Сначала надо знать, чем нас накроют. Юдин, Хвостов — берёте правее, по краю ельника, там просека боковая, я её видел с вырубки. Не лезть далеко: ваше дело дойти до первого поворота и посмотреть, есть ли туда вообще ход. Рябцев идёт с вами и идёт впереди вас, и что он говорит, то и делаете.

Рябцев, сидевший на корточках у гусеничного следа и ковырявший что-то прутиком, поднял голову.

— На мины смотреть? — спросил он.

— На всё смотреть. Немец уходил не торопясь, у него было время и на сосны, и на остальное.

— Тогда я первым, — сказал Рябцев и встал. — И чтоб в затылок мне не дышали. Шагов десять между мной и первым.

Боковая просека начиналась шагах в шестидесяти от завала и уходила вправо и вниз, старая, заросшая по краям молодым осинником, но с явной колеёй посередине — не заметённой, свежей.

Юдин присел у входа и потрогал колею рукавицей.

— Товарищ сержант. Тут проходили, и недавно. Колесо узкое, повозка.

— Наша или ихняя?

— По колее не скажу. Но снег в следу ещё не осел.

Он поднялся и сделал два шага вперёд — и остановился сам, прежде чем я успел его окликнуть.

Вот за это я его с ноября держу при себе.

— Что? — спросил я.

— Да ничего, — сказал он с досадой на самого себя. — Просто подумал: прошла повозка, значит, чисто. А она, может, потому и прошла, что за ней потом ставили.

— Рябцев.

— Слышу, слышу.

Сапёр прошёл мимо нас, встал на колею, посмотрел вдоль неё долго, будто прицеливался, и пошёл, как ходят они все, — очень медленно и очень некрасиво, полусогнувшись, щупом вперёд, ставя ногу туда, где уже стоял щуп.

Он прошёл шагов двадцать, потом опустился на колени.

Мы стояли и смотрели ему в спину. Крохин, орловский связной, встал рядом со мной и дышал открытым ртом.

— Долго он? — спросил Крохин.

— Сколько надо.

— Мне капитану докладывать...

— Вот это и доложишь: сапёр работает. Он у тебя человек грамотный, поймёт.

Рябцев долго работал лёжа у края колеи. Отделив опасное место вешками, он проверил узкую полосу слева и провёл по ней след. Через десять шагов пришлось остановиться снова; к нам он вернулся только своим следом.

— Две обнаружил, оставил на месте, — сказал он, вернувшись к нам и вытирая ладони о полы шинели. — Обе у самой колеи, справа. Ставил не дурак, но торопился: маскировал снегом, а снег с тех пор подтаял и опять стал. Видно.

— Значит, дальше можно? — спросил Юдин.

— Не значит.

Рябцев сел на корточки и нарисовал прутиком по снегу кривую линию.

— Вот колея. Он поставил здесь и здесь, с одной стороны. А дальше, где ему по уму надо было поставить третью, у него ничего нет. Метров на сорок пусто.

— Ну и хорошо.

— Ничего хорошего. Или у него кончились, или он туда не полез, потому что там и без него нехорошо, или он поставил такое, чего я с ходу не увижу. Я на пустое место не верю. Я верю, когда я сам проверил.

Глава 2

— Сколько тебе на эти сорок метров?

— Полчаса, если один. Двадцать минут, если мне никто не будет мешать и стоять над душой.

Я посмотрел на часы. Орловские десять минут уже истекали.

— Не годится, — сказал я. — Хорошо. Тогда так: просека дальше нам сегодня не нужна. Нам нужно знать одно — она есть или её нет. Она есть. Стоп, дальше не идём, ставь знак.

— Правильно, — сказал Рябцев с явным облегчением, потому что боялся, видно, что я его погоню.

Он выломал две жердины, воткнул крест-накрест поперёк колеи и повесил на них обрывок бинта — белое на белом, но всякий, кто идёт по просеке, увидит именно неестественность.

И в этот момент из-за поворота, там, за его сорока непроверенными метрами, кто-то крикнул.

Крикнул хрипло и коротко, будто сорвал голос ещё раньше:

— Э-эй! Живые есть?!

Мы все присели.

— Не отвечать, — сказал я тихо.

Он крикнул ещё раз, и в третий, и по тому, как он кричал — с надрывом, без страха быть услышанным немцами, а со страхом, что его не услышат свои, — мне показалось, что там свой, отчаявшийся дождаться помощи. Но голос ещё ничего не доказывал.

— Рябцев, проверь кромку слева, вдоль осинника. Юдин за тобой: посмотреть, кто кричит. По целине без проверки не шагать.

Они ушли. Когда Рябцев обозначил проход вдоль осинника, Юдин добрался до поворота и вернулся, красный и мокрый.

— Повозка, товарищ сержант. Связная, наша, с катушками. Лошадь убита, лежит в упряжи. Возница живой, сидит за колесом, нога, кажется, целая, но он оттуда встать боится: говорит, при нём тут двое подорвались.

— Сам он как туда попал?

— Говорит, ехал по просеке, ему сказали, что так ближе. Повозка прошла, а потом сзади рвануло.

Рябцев тихо выругался.

— Вот тебе и «прошла». Это она по своему следу прошла, а обратно они уже пошли по-другому.

— Крохин, — сказал я. — Ты хотел докладывать. Иди сейчас и доложи: на боковой просеке связная повозка, наши люди. Мы их выводим. Спроси у капитана, есть ли у него носильщики, но не жди ответа, возвращайся.

Крохин посмотрел на меня, потом на Рябцева, потом туда, откуда кричали.

— Я лучше тут останусь, — сказал он. — Я потом разом доложу.

— Как хочешь.

Выводить пошли двое: Хвостов и тот же Юдин, потому что Юдин уже прошёл за сапёром вдоль осинника, а Хвостов умел уговаривать людей, которые не хотят двигаться.

Я слышал, как Хвостов говорил ему оттуда — не шёпотом, а нормальным низким голосом, каким говорят с испуганной лошадью:

— Ты сиди, сиди. Ты не шевелись пока. Я к тебе не по твоему следу иду, я по проверенному, слева. Видишь меня? Ну вот и хорошо. Ты когда последний раз ел?

Возница что-то ответил.

— Ну вот и я говорю. Сейчас выйдем — и поедим.

Они вывели его, поддерживая с двух сторон, и он шёл сам, только очень медленно и всё время оглядывался на свою повозку.

Ему было лет сорок, борода в сосульках, шапка потеряна.

— Там имущество, — сказал он мне сразу, не здороваясь. — Там четыре катушки и аппараты. Я без них не могу.

— Сколько всего?

— Четыре катушки, два мешка и ящик.

— Ящик оставим.

— Как — оставим?

— Так. Ящик тяжёлый, за ним надо идти второй раз, а второго раза у нас нет. Катушки и мешки вынесем.

Он смотрел на меня и мялся, и я видел, что он сейчас скажет: тогда я сам пойду, — и что говорит он это не из храбрости, а из того же страха, из-за которого люди подписывают ведомости, не читая.

— Тебя за ящик кто спросит? — сказал я. — Фамилию и часть скажи.

— Селифанов. Связь батальона Орлова.

— Селифанов, за ящик спрошу я, и отвечу тоже я. Запиши, кому: сержант Гринёв, вторая рота. Понял?

Он кивнул.

Мешки и катушки таскали Хвостов с Юдиным по проверенному следу, по два конца, и на третьей ходке к ним, ни у кого не спросясь, пристроился Крохин.

Он взял мешок за один угол и понёс его вместе с Хвостовым, и по нему было видно, что мешок тяжелее, чем он рассчитывал, и что бросить теперь нельзя.

Когда всё лежало за укрытием, у комля большой ели, Крохин отдышался и сказал:

— Ну, теперь пойду доложу.

— Иди.

Он прошёл шагов пять, обернулся.

— Товарищ сержант. А вот эти катушки — они чьи?

— Ваши, — сказал я. — Соседи. Батальон Орлова, связь.

Он постоял ещё секунду и побежал.

Осипов в это время лежал в снегу шагах в тридцати, разложив на коленях свою сумку, и сращивал провод. Линия, идущая вдоль дороги, оборвалась где-то у завала — то ли сосной прихватило, то ли перебило осколком, — и он нашёл разрыв, зачистил концы ножом, скрутил и обмотал так же спокойно, как штопают носок.

— Есть, — сказал он, не поднимая головы. — Товарищ сержант, есть передовой наблюдатель.

— Говори.

— Через полковой коммутатор дал вашего артиллерийского наблюдателя. Говорит: пулемёт у них не на дороге. Пулемёт слева, в низине, на возвышении между двумя болотинами, там бугор с кустами. Оттуда вся полоса перед завалом простреливается вдоль. Говорит: они специально сосны так положили, чтоб все, кто будет их растаскивать, вылезли на одну линию.

Я попросил его повторить и повторил вслух сам, чтобы не переврать. Потом позвал человека Веры — того, что она мне дала, — и мы вместе, с его биноклем, отползли на кромку и несколько минут, не отрываясь, смотрели на бугор.

Бугор был. Кусты были. Больше ничего видно не было, но это ничего и не значило.

— Она достанет? — спросил я.

— С промежуточной — достанет. — Артиллерист опустил бинокль. — Только ей туда выходить надо, а как она туда выйдет, ей самой станет видно и её самоё станет видно.

— Значит, она сделает это тогда, когда он уже занят нами.

— Ага. То есть когда вы полезете на завал.

— Вот именно.

Я посмотрел на часы.

Десять минут прошли давно — прошло больше часа.

Но когда я возвращался к дороге, мне навстречу попался Крохин, уже без мешка, и он не сказал ничего, но кивнул мне на ходу, а у завала Орлов вместо разговора об аресте сказал коротко, не поворачиваясь:

— Мне доложили. Ладно. Что тебе нужно от меня?

— Уберите с прохода свои подводы ещё метров на сто назад, товарищ капитан. Когда мы возьмёмся за сосны, здесь будет неуютно.

Завал я обошёл пешком, вблизи, с правого края, где склон давал полметра мёртвого пространства.

Вблизи он был устроен умнее, чем казался.

Три сосны лежали не просто накрест. Нижняя, самая толстая, легла поперёк дороги и упёрлась комлем в склон, а вершиной ушла в канаву; на неё сверху навалили две другие, и сучья у всех трёх были не обрублены, а наоборот — подрублены и завёрнуты внутрь, так что получилась не куча брёвен, а плетень, в котором каждое движение одного дерева цепляет два остальных.

— Если тянуть верхнюю, — сказал Жаров, присев рядом со мной, — она пойдёт и потянет за собой среднюю, а средняя ляжет мне поперёк, и я потом буду её разбирать вручную, под ихним пулемётом.

— А если нижнюю?

— Нижнюю я с места не сдвину. Она в склон уперлась. У меня трос лопнет раньше.

— Тогда что?

Он помолчал, глядя.

— Тогда среднюю. Вот эту. Её надо взять не за комель, а вот тут, ближе к середине, и тянуть не назад, а вбок, под угол. Тогда она вывернется из-под верхней и ляжет вдоль, а не поперёк, и проход будет по правому краю. Узкий будет, но полуторка пройдёт.

— Тебе надо машину подводить туда?

— Надо. Но не к самому завалу. Метров за тридцать, вон на тот бугорок, и там я развернусь боком. Тридцать метров — это разница между «он меня видит» и «он меня, может, и не видит».

Хвостов с топором уже ходил вдоль плетня и высматривал, за что цеплять.

— Командир! — позвал он вполголоса. — Тут сук в землю вошёл. Он как якорь. Пока его не снимем, хоть тресни.

— Снимешь?

— Снять — три удара. Только я эти три удара буду делать стоя.

Мы посмотрели друг на друга.

— Лягут два раза, — сказал он. — Первый раз он по мне промажет, потому что я быстро. Второй раз не промажет.

— Значит, второго раза не будет. Ты рубишь в тот момент, когда Самойлова начинает работать, и ни секундой раньше. До этого лежишь вон там, за комлем, и держишь топор в руках, а не ищешь его по карманам.

Жаров с Хвостовым заранее размотали трос и протянули свободный конец к комлю, за которым предстояло ждать. У машины оставили слабину на короткий выход к бугорку.

Порядок вышел такой.

Тимохин отогнал всех лишних с линии троса и встал так, чтобы видеть и трос, и Жарова в кабине, и людей за завалом. Свою работу он теперь знал: не тянуть, не толкать, а следить, чтобы под натянутым тросом не оказалось человека. Мы уже видели в ноябре, что делает лопнувший трос с тем, кто стоит в его плоскости.

Юдин с двумя людьми ушёл влево, к канаве, — не стрелять, а смотреть за низиной, чтобы немец не вздумал послать оттуда пару с гранатами.

Вера со своим расчётом выкатила орудие на руках на промежуточное место: короткий бугор у самой кромки леса, с которого бугор с кустами был виден как на ладони — и с которого, разумеется, она была видна точно так же.

Я лежал за комлем рядом с Хвостовым и смотрел на часы, потому что мы условились не по сигналу — сигнал в таком деле запаздывает, — а по времени.

— Пошёл, — сказал я.

Жаров дал газ, и тягач полез на бугорок, разворачиваясь.

Немец увидел его сразу.

Пулемёт заработал не лениво, как всё утро, а деловито, длинными, и первая же очередь прошла по мёрзлой каше перед машиной, вспахав её в двух шагах от переднего катка.

И в ту же секунду ударила Вера.

Сорокапятка бьёт резко и зло, без раската, и от первого её выстрела у меня, как всегда, дёрнулось в ушах. Первый лёг с недолётом, в склон бугра, подняв чёрное. Второй — через шесть или семь секунд, не больше, — лёг в кусты.

Пулемёт замолчал.

— Пошёл! — крикнул я Хвостову.

Он встал и пошёл к завалу шагом, а не бегом, — я запомнил это, потому что сам бы побежал, — подошёл, примерился и ударил. Раз. Два. На третий сук хрустнул и отвалился, и Хвостов, не оборачиваясь, уже цеплял петлю троса туда, куда показывал ему Жаров.

Пулемёт заработал снова.

Он сменил место — не сильно, но сменил: очередь пошла уже не оттуда, а левее, и ложилась она теперь не по машине, а по дороге, вдоль, ровно по той линии, которую он и берёг всё утро.

Хвостов упал за комель, и я не сразу понял, упал он сам или его.

— Живой?

— Живой! — отозвался он оттуда с яростью. — Зацепил! Тяни!

Тягач взял.

Трос вышел из провиса, зазвенел, — у натянутого троса есть свой отдельный звук, тонкий и нехороший, — и сосна пошла. Она пошла медленно, потом сразу быстро, вывернулась из-под верхней, как Жаров и говорил, и, ломая сучья, съехала вдоль дороги к канаве.

Верхняя за ней не последовала. Верхняя осела, качнулась и легла точно поперёк — то самое, чего мы боялись.

— Стоп! — заорал Жаров в окно и заглушил тягу.

Мы лежали и смотрели на неё, и я считал, сколько человек надо, чтобы её сдвинуть вручную, и получалось, что шесть, и что все шесть встанут ровно на простреливаемую линию.

Вера сделала ещё три выстрела. Последний, кажется, попал: над кустами встало не чёрное, а серое с искрами, и пулемёт заткнулся и больше не начинал.

Тогда я поднял людей.

Мы сдвинули верхнюю сосну вшестером, за четыре приёма, качая и подталкивая её к канаве, и всё это время у меня между лопаток было ощущение, будто туда смотрят. Но никто не стрелял, кроме одиночных откуда-то издалека, из-за низины, и эти одиночные ложились высоко.

Проход получился шириной в полторы сажени, весь в сучьях, с колеёй, заваленной хвоей.

— Прошибём, — сказал Жаров, вылезая. — Только сначала хвою убрать, а то у меня гусеницы будут по ней скользить, как по маслу.

И вот тут, пока мы разгребали эту хвою, я, разогнувшись, увидел, что в кузов тягача лезут люди.

Их было человек восемь. Незнакомые, в чистых шинелях, с вещмешками и с двумя телефонными ящиками, и один уже подавал наверх что-то тяжёлое, завёрнутое в плащ-палатку, а двое сидели на борту, свесив ноги внутрь.

— Слезай, — сказал я.

Они посмотрели на меня.

— Нам приказано, — сказал старший из них, с треугольниками. — Штаб батальона капитана Орлова. Мы с имуществом.

— Слезай, — повторил я. — Все восемь.

Подошёл Жаров, и на лице у него было такое выражение, какое я потом видел только один раз — когда у него на переправе чужой водитель сел в его кабину.

— Слушай сюда, — сказал он спокойно. — Вот тут у меня сколько сейчас? Восемь человек по семьдесят — больше полутонны. Плюс ваше имущество. Я вам сегодня перед завалом десять ящиков вдвое делил, а вы мне их обратно посадили и ещё сверху положили.

— Нам приказано.

— Тебе приказано ехать, — сказал я. — А не сесть.

Я поднялся на подножку и оглядел дорогу впереди. За проходом она шла ровно метров триста, потом опять поворот. Триста метров открытого, и по ним только что стреляли вдоль.

— Вот что, — сказал я старшему. — Имущество ваше остаётся здесь, у прохода, я его никому не отдам и поставлю человека. Оно уедет следующей ходкой, договоримся с вашим капитаном, и я сам вам скажу, когда. А вы триста метров пройдёте ногами.

— По открытому?

— Не по открытому. Вон там, справа, вдоль склона, есть тропа в мёртвом пространстве, я по ней утром ходил. Идти цепочкой, интервал десять шагов, не кучей. Мои двое пойдут с вами: один впереди, один сзади. Если будут бить — ляжете, и вам скажут, когда встать.

Старший помялся.

— Нам бы быстрее.

— Быстрее — это когда все дошли, — сказал я.

И тут из-за их спин подал голос Крохин — он оказался тут же, с тёмной полосой на плече от мешка, который он помог вынести.

— Я пойду, — сказал он. — Я эту тропу видел. Он правду говорит, там не простреливается, я оттуда смотрел, когда мы имущество носили. Наше же имущество, между прочим. Вон оно лежит, четыре катушки.

Они посмотрели на катушки.

Что-то в них переменилось — не от моих слов и не от Жарова, а от того, что свой человек из их батальона стоял с перепачканным от переноски плечом и говорил, что тут вынесли их же добро.

— Ладно, — сказал старший. — Цепочкой так цепочкой.

Они пошли, и Крохин пошёл первым, и я дал им Дёмина в замыкающие — ему как раз годилась работа, где нужны глаза и голос, а не кисть.

Орлов стоял у своей полуторки метрах в семидесяти и смотрел, как его штаб идёт пешком по тропе вдоль склона, а по дороге в это же время тягач, ворча, протаскивал сорокапятку в узкий проход между сучьями.

Он не подошёл и ничего не сказал.

Он стоял, заложив руки за спину, и лицо у него было такое, будто он считает про себя — и ему не нравится то, что получается.

Пушку Вера ставила за поворотом, на той площадке, которую наметила ещё вчера по карте: за гребнем, с прямой видимостью на выход из низины и на дорогу, уходящую к деревне.

Тягач подтащил орудие, расчёт отцепил, откатил на руках, и мы вдвоём с Тимохиным перетаскали из кузова то, что осталось: пять ящиков.

Остальные пять Жаров привёз второй ходкой, от пней, и Тихонов с молодым сдали их под расписку в блокнот, и молодой, помню, страшно гордился этой распиской и всё показывал её потом.

Заслон, который держал дорогу, стоял в километре, в бывшей путевой будке и в двух окопах рядом.

Вера работала по нему двадцать минут.

Я в это время был со своими выше по склону, и мне было видно, как от будки после третьего снаряда посыпалась черепица, а после пятого рухнула стена, и как побежали — не оттуда, а из окопа левее, вдоль канавы, пригибаясь.

Их было человек десять, и мы их не преследовали, потому что дорога была нужнее.

Когда всё кончилось, стало очень тихо, и в этой тишине по проходу пошла колонна: сначала подводы, потом полуторка с будкой, потом орловские люди, догнавшие своё имущество, потом ещё подводы, потом санитарная повозка, которая шла с самого утра и которую мы всё это время держали перед завалом.

Жаров уложил трос на кронштейн и полез в кабину — отогнать тягач с дороги, чтобы не мешал.

Мотор завёлся.

И на втором или третьем обороте внутри что-то коротко и сухо ударило — один раз, будто кто-то щёлкнул кнутом в ведре.

Жаров заглушил мотор мгновенно. Не через секунду, не «дай послушаю», а сразу, и в кабине ещё звенело, когда он уже открывал дверцу.

— Тимоха! От капота назад! Всех от машины!

— Отойдите! — крикнул Тимохин и отвёл двоих, склонившихся над краем открытого кожуха.

Жаров открыл кожух.

Ремень лежал внутри двумя кусками.

Он был разорван не по шву — шов как раз держал, — а по краю, по той самой стороне, где мы утром с Тимохиным разглядывали светлую нитку, и разрыв был косой, длинный, с бахромой.

Никто не сказал ни слова.

Потом Тимохин произнёс:

— Он же нас довёз.

— Довёз, — сказал Жаров.

Он вытянул оба куска, отряхнул от пыли, сложил вместе, совместил разрыв — и долго держал их так, поворачивая к свету.

— Гринёв, иди сюда. Смотри.

Я подошёл.

— Видишь? Вот тут край сработан. И тут. И ровно так же он сработан был у первого, который я снял прошлой ночью. Одинаково, понимаешь? Не случайно.

— Значит, дело не в ремне.

— Дело не в ремне, — сказал он с большим удовлетворением, чем я ожидал. — Ремень — расходный. Дело в том, по чему он ходит. И я тебе теперь это докажу, потому что у меня есть два куска, а не один.

Он завернул оба обрывка в тряпицу и сунул в свой ящик с инструментом, как складывают в конверт документ.

— Я думал, ты расстроишься.

— Я расстроился, — сказал Жаров. — Мне теперь машину с дороги руками сталкивать. Но я третий раз резать заплату не буду. Хватит.

Под гусеницы подложили короткие брусья. Всем свободным расчётом, с рычагами и помощью обозных лошадей, стянули её в неглубокий карман у обочины, где стояла когда-то, видно, будка дорожного мастера — остался фундамент и три венца.

Я поставил туда часового — Тихонова, как самого спокойного, — и сказал, чтобы никого, ни своих, ни чужих, к машине не подпускал, а если придут с приказом, звал меня или Жарова.

Потом отыскал санитарную повозку.

Она уже прошла завал и стояла у поворота; фельдшер сидел на облучке, свесив ноги, и что-то записывал огрызком карандаша на колене.

— Обратно как пойдёте? — спросил я.

— Как обычно. Заберём с рубежа тяжёлых и назад.

— Тяжёлых на чём повезёте?

Он посмотрел на меня, потом на стоящий тягач и всё понял.

— Нам обещали, что этот подхватит нас на обратном.

— Этот сегодня больше никуда не пойдёт.

Фельдшер перестал писать.

— Сержант, у меня на рубеже двое с животом. Их на подводе трясти — это всё равно что не везти.

— Знаю. Поэтому слушайте: до темноты через этот проход пойдёт назад пустой обоз, тот, что разгрузится у батареи. Я договорюсь, чтоб две подводы с сеном оставили для вас и шли шагом. Это хуже машины. Но это будет, а машины не будет, и я вам говорю об этом сейчас, а не через три часа, когда вы уже погрузите людей и станете ждать.

Он посидел, потом кивнул.

— Спасибо, что сейчас.

Я пошёл искать обозного старшину, и нашёл, и договорился — не без ругани, — и вернулся к тягачу уже в темноте.

Жаров сидел в кабине с фонарём и что-то писал в замусоленной тетради; Тимохин спал, привалившись к борту и завернувшись в трофейный брезент.

— Что пишешь?

— Что сегодня было, — сказал Жаров. — По часам. Во сколько встали, во сколько пошли, сколько провезли, что порвалось. Мне это завтра пригодится.

— Кому ты собираешься это показывать?

Он поднял на меня глаза из-под фонаря.

— Тому, кто придёт забирать машину, — сказал он.

Пришли на следующий день, в полдень, и не за машиной, а за мной.

Посёлок, который взяли накануне вечером, назывался Дьяково и стоял на пересечении двух дорог: полтора десятка изб, кирпичный остов не то склада, не то бывшей кооперации, водокачка с пробитой крышей и, на дальнем конце, за огородами, длинный сарай с широкими воротами и железной трубой — ремонтный двор МТС.

Разбор Лавров назначил в избе у перекрёстка, где уже сидели связисты и где на столе, сдвинув посуду, разложили карту.

Я пришёл не один.

Со мной пришли Жаров — в своей неизменной ватной куртке, всё ещё лагерного вида, с ящиком инструмента, который он не оставлял нигде, — и Вера, и фельдшер Каретников с санитарной повозки, которого я поймал утром и полчаса уговаривал.

— Мне-то зачем? — говорил он. — Я не начальство.

— Затем, что вчера вы остались без машины и вам сказали об этом честно. Больше про это никто рассказать не сможет.

Орлов был уже там. Он стоял у печки, грея руки за спиной, и, когда мы вошли, оглядел мою компанию с интересом.

— Ну, — сказал Лавров, не поднимая головы от бумаг. — Начнём. Товарищ капитан, вы просили.

Глава 3

— Просил. — Орлов отошёл от печки. — Тягач немецкий, взят на складе при участии подразделений, обеспечивавших участок. Участок обеспечивал мой батальон. Вчера машина работала на общем проходе, которым пользовались все, и в первую очередь я. Прошу закрепить её за нами, поскольку у нас единственная в полосе ремонтная база и штатный водитель.

Он сказал это ровно и коротко, и в этом было своё достоинство: он не стал врать про подвиги и не стал жаловаться на меня.

— Гринёв.

Я встал.

— Товарищ майор, машину я не считаю своей и не прошу закрепить за собой. Я прошу другого: закрепить не за частью, а за делом. И прежде чем решать, прошу спросить троих, кому она вчера служила. Они здесь.

— Спрашивай, — сказал Лавров и откинулся на лавке.

Первой говорила Вера.

— Орудие с боекомплектом доставлено на огневую площадку за поворотом в пятнадцать сорок, — сказала она. — Быстрее доставить орудие я ничем не могла. Резервные лошади шли, но на подъёме с ними потеряли бы ещё время. Доставили с двумя остановками по требованию механика и с половиной боекомплекта на руках пехоты. В шестнадцать ноль пять заслон подавлен, дорога открыта для колонны. Без этой машины я бы стояла перед завалом и сейчас.

— Половина первого груза на руках пехоты, — повторил Лавров. — Чьей?

— Моей, — сказал я. — И ещё людей из хозвзвода.

Вторым — Каретников, и говорил он неохотно и очень по-своему:

— Мне вчера обещали машину под обратный рейс, и машины не стало. Мне об этом сказали вовремя, и я успел взять две подводы с сеном. Двоих довезли живыми. Если бы мне сказали в темноте, когда я уже погрузился, я бы их не довёз.

— Это в пользу машины или против? — спросил Орлов.

— Это в пользу того, чтоб мне говорили заранее, — сказал фельдшер и сел.

Жаров говорил последним и говорил дольше всех, потому что достал тетрадь.

— Я вам сейчас не буду доказывать, что машина хорошая, — начал он. — Машина плохая. Она трофейная, с чужого склада, к ней нет ничего. Вот тетрадь, тут по часам всё, что она делала с первого рейса. Вот обрывки двух ремней: первый порвался перед маршем, второй — вчера. Сравните края.

Он положил обрывки на карту, прямо поверх карты, и Лавров, вместо того чтобы согнать, наклонился и посмотрел.

— Одинаково рваные, — сказал майор.

— Одинаково. Значит, режет их не работа, а что-то в самой машине. Скорее всего, шкив бит. Пока его не заменить, любой ремень, какой вы мне дадите, я сожру за три дня.

— То есть машина небоеспособна, — быстро сказал Орлов.

— То есть машина стоит, — сказал Жаров. — И будет стоять, пока не выточат деталь. И я вам всем это говорю сейчас, а не когда вы посадите в неё людей.

Орлов повернулся к Лаврову.

— Тем более. У нас есть мастерская в тылу полка, и мы её отремонтируем.

— У вас есть мастерская, — сказал Лавров. — Далеко?

— Двенадцать километров.

— А тащить её туда на чём?

Орлов не ответил сразу, и в этой паузе я увидел свою минуту.

— Товарищ майор, — сказал я, — разрешите не про то, чья она, а про то, как ею пользоваться.

— Говори.

— Вчера получилось так, что машина в один день работала на артиллерию, на пехоту, на связь и на санитарную часть. Пчёлкин уже установил ей часы работы и первым поставил медицинский рейс. Внутри своей части это действует. А соседние службы всё равно приходят по отдельности, и каждый считает, что он первый. Значит, надо закрепить общий порядок для всех, чтобы наш график признавали и за пределами батальона.

— Какую очередь?

Я выложил на стол свой листок — к графику Пчёлкина мы с Ершовым добавили учёт выполненных рейсов и с тех пор пополняли его карандашом: день, час, кто заказал, что везли, сколько вышло.

— Вот это мы ведём с первого рейса. Девятнадцать заявок: восемнадцать выполнены, одна отменена. Из них на раненых — шесть, на боеприпасы — семь, на связь — два, на штабное имущество — три. Один рейс не состоялся.

— Почему не состоялся? — спросил Лавров.

— Потому что я его запретил, — сказал Жаров. — Масло падало.

Лавров взял листок и долго смотрел, водя пальцем по строчкам. Потом положил и накрыл ладонью.

— Вот что, — сказал он. — Порядок будет такой. Машина закрепляется за транспортной группой при батальоне, старший — Жаров, при нём Тимохин. Заявки подаются в эту группу от всех служб и исполняются по очереди: первым делом раненые, вторым боеприпасы, третьим связь, четвёртым штабное имущество и всё прочее. Если два заказа одинаковой очереди — исполняет тот, кто раньше подал.

— А если начальство приказало? — спросил Орлов.

— Начальство подаёт заявку, как все, — сказал Лавров. — И если начальству нужно вне очереди, оно идёт ко мне и объясняет мне, почему.

Орлов усмехнулся, но не весело.

— Дальше, — сказал майор. — Механик имеет право отказать в рейсе по состоянию машины. Не после того, как погрузились, а до. Отказ записывает в свою тетрадь с указанием причины, и тетрадь эта — документ. Жаров, ты меня понял?

— Понял, — сказал Жаров. — А если на меня надавят?

— Тогда назовёшь фамилию того, кто давил, и я с ним поговорю. — Лавров посмотрел на Орлова и ничего ему не сказал, но смотрел достаточно долго. — Кто ведёт очередь?

— Ершов, товарищ майор, — сказал я. — Он уже ведёт.

— Пусть ведёт. Отвечает за график — Гринёв, за машину — Жаров, за то, чтоб это не превратилось в базар, — я.

Он взял карандаш и стал писать.

Орлов дождался, пока он допишет, и сказал:

— Товарищ майор, у меня заявка. Штабное имущество, шесть мест, от девятого километра в Дьяково. Прошу записать.

— Записывай, Гринёв.

Я взял карандаш, положил листок на край стола и записал: капитан Орлов, штабное имущество, шесть мест, четвёртая очередь.

— И указать, — добавил Орлов, — что исполнение зависит от ремонта.

— Указано.

Он взял со стола свою шапку.

— Я подпишу, — сказал он. — Только вы, сержант, не воображайте, что вы вчера кого-то победили.

— Я не воображаю, товарищ капитан.

— Воображаете. У вас на лице написано. — Он надел шапку. — Вчера вы оказались правы, и я это признал, и в бумаге распишусь. Но правы вы были не потому, что умный, а потому, что вам повезло с артиллеристом. В другой раз не повезёт, и тогда я вам этот график напомню.

— Напомните, — сказал я. — Он для того и есть.

Он вышел, и в избе стало просторнее.

— Гринёв, — сказал Лавров, не поднимая головы. — Он тебя запомнил.

— Я понял.

— Ты понял половину. Он тебя запомнил не как помеху, а как человека, который сумел сделать по-своему и не получил за это по шапке. Такие вещи люди вроде него помнят долго и по-разному. — Майор подул на чернила. — Впрочем, сегодня ты был прав, и хватит об этом. Теперь про мастерскую. Во дворе МТС есть сарай. Машину перетащим туда на буксире после прохода обоза. Жаров осмотрит всё под крышей; если найдёте местного мастера, приведёте ко мне.

Из избы мы вышли втроём: я, Жаров и Вера.

— У тебя лицо, — сказала мне Вера, — как у человека, который выиграл двадцать рублей и потерял тридцать.

— У меня машина стоит.

— У тебя правило есть. Машина — железо, а правило переживёт и эту машину, и следующую.

— Ты всерьёз?

— Я всерьёз, — сказала она. — Я в октябре видела, как батарею поставили в оборону без тяги, потому что тягач забрали возить начальство. Все были правы, и каждый по-своему. — Она сунула руки в рукава. — Мне к орудию. Ты вечером где?

— Во дворе МТС, наверное.

— Значит, приду ругаться про снаряды.

Во дворе МТС в это время уже шла своя жизнь.

Ершов принёс и повесил на гвоздь у ворот наш разграфлённый лист, подписав сверху чернильным карандашом: «Заявки». Через два часа на нём было четыре записи, и одна — от хозяйственной части, которая прежде и не думала ничего просить, а просто ловила машину на дороге.

Тимохин надел на плечи ватник и стоял у ворот часовым, очень серьёзный, и не пустил внутрь двух каких-то ездовых, а когда те начали спорить, сказал им фразу, которую явно приготовил заранее:

— На гвозде запишитесь. Механик посмотрит.

Я слушал это из-за угла и, честно говоря, радовался куда больше, чем утром на разборе.

Хозяин ремонтного двора объявился сам.

Он пришёл часа в три, когда мы уже вкатили тягач под навес, — невысокий, широкий в кости старик в брезентовом фартуке поверх полушубка, с руками, каких не бывает у крестьян: пальцы толстые, но чистые, и ногти подстрижены коротко, до мяса.

— Круглов Семён Петрович, — сказал он. — Я тут токарь. Был.

— Почему был?

— Потому что «есть» — это когда станок вертится.

Он обошёл тягач кругом, не прикасаясь, и остановился у открытого кожуха.

— Порвали.

— Порвали, — сказал Жаров.

— А чего резину чужую ставили?

— Своей не дали.

Круглов хмыкнул и наклонился ближе, и они с Жаровым минут десять говорили так, что я не понимал половины: обод, реборда, биение, посадка, торцевое. Я в это не лез. Я стоял в стороне и смотрел на Тимохина, а Тимохин смотрел на них.

Потом Круглов выпрямился, вытер руки о фартук, хотя не испачкал их, и сказал:

— Ты мне его проверни. Медленно.

Жаров провернул.

Старик смотрел не на шкив, а вбок, приложив глаз почти к самому краю, как смотрят вдоль доски, проверяя, не повело ли.

— Ну вот, — сказал он. — Видишь, гуляет? Он у тебя бит. Кто-то его уронил или ломом поддел, и обод повело. Он теперь ремень на край тянет, а край — самое слабое место, что у хорошего ремня, что у твоего сшивного.

— Я то же самое говорил, — сказал Жаров.

— Ты говорил на ощупь, а я тебе показал.

Он сказал это без всякого превосходства, но Жаров, который два дня подряд отбивался от всех, кто хотел ему посоветовать, вдруг замолчал и кивнул.

Я потом много думал об этой минуте.

Жаров у нас был человек, привыкший, что он один умеет. В плену он этим умением жил, а после освобождения оно стало для него ещё и правом на место среди нас. И я видел, как ему трудно с ним расставаться: он и молоток-то никому не давал без объяснения, как держать.

А тут пришёл старик в фартуке и за десять минут сказал то, чего Жаров не мог доказать, — и Жаров не стал спорить.

Тимохин это тоже увидел. Он стоял с открытым ртом.

— Выточить можешь? — спросил Жаров.

— Шкив? Могу. — Круглов пожевал губами. — Чугун лить негде, значит, из стали выточу. Тяжелее будет, ну да тебе не на самолёт.

— Заготовка есть?

— Заготовка есть. Вон, у стены под мешковиной, я её с тридцать девятого года берегу, мне из неё шестерню обещали заказать.

— А ремень?

— А ремень я тебе не выточу, — сказал старик. — Ремень — это не моё дело. Ремень ищи по складам, у железнодорожников, у мельников, где хочешь. Мне нужно только знать ширину, чтоб я под неё ручей проточил.

Жаров засмеялся — первый раз за двое суток.

— Семён Петрович, — сказал он, — если ты мне это сделаешь, я тебе хоть в ноги.

— В ноги не надо, — сказал Круглов. — Пойдём, покажу тебе кое-что, а ты потом решай, кому кланяться.

Он повёл нас в дальний конец сарая, за перегородку, и поднял с гвоздя фонарь.

Там стоял станок.

Я в станках не понимаю ничего, но даже я увидел, что это хорошая вещь и что за ней ходили: суппорт был протёрт до блеска, на полке лежали резцы в деревянной колодке, каждый в своём гнезде, и над верстаком висела дощечка с обведёнными по контуру ключами — чтобы сразу видеть, какого нет.

А сбоку, на бетонной тумбе, были железные салазки с четырьмя болтами.

Пустые.

— Вот, — сказал Круглов и посветил туда. — Здесь стоял мотор.

Он сказал это ровно, но фонарь у него в руке немного дрожал, и он переложил его в другую.

— Немцы сняли?

— Немцы. В декабре ещё, в первых числах. Приехали двое на машине, с ними наш один, из соседней деревни, переводил. Походили, посмотрели. Тот, что постарше, сам крепления щупал — вот эти, видите, гайки на четырнадцать, — и сказал: этот возьмём, этот хороший. И взяли.

— А вы?

— А я стоял, — сказал Круглов. — Мне шестьдесят третий год. Я стоял и запоминал.

Он поставил фонарь на верстак.

— Они его не сразу увезли. Они его снесли на станцию и положили под навес у пакгауза, я туда ходил, я видел. Там у них весь месяц лежало снятое: моторы с двух МТС, с маслозавода динамо, ещё что-то. Потом стали грузить.

— Куда грузить?

— В эшелон. Тут у них ремонтный поезд стоит на разъезде, за Сухим Логом. Вагоны крытые, две платформы, мастерская на колёсах — я её видел, у неё труба из крыши, как у бани. Они туда всё и таскали.

Я почувствовал, как у меня сзади под лопатками пошёл холодок, и это был не страх.

— Семён Петрович, — сказал я очень осторожно, чтобы не спугнуть, — а откуда вы знаете, что он в эшелоне сейчас?

Круглов помолчал.

— Потому что я третьего дня был на разъезде, — сказал он. — Меня туда возили. Они по деревням брали, кто с руками, — разгружать и грузить. Я два дня у них таскал, а вчера утром меня отпустили, потому что наши уже стреляли близко и им стало не до нас. Я шёл оттуда пешком, восемь километров.

Жаров медленно сел на верстак.

— И мотор ты там видел?

— Я его грузил, — сказал Круглов. — Своими руками. На платформу, вторую от паровоза, под брезент. Я его по краске узнал и по тому, что у него лапа заварена — я её сам заваривал в тридцать восьмом, криво заварил, стыдно было.

Он взял с полки резец, посмотрел на него и положил обратно.

— Так что выточить я вам могу, — сказал он. — А вертеть нечем.

Мы стояли в сарае, где было всё — инструмент, заготовка, мастер, резцы в гнёздах, — и не было одной вещи, без которой всё остальное было мёртвым железом.

— Эшелон когда уходит? — спросил я.

— Не знаю. — Круглов пожал плечами. — Когда я уходил, он стоял. Они там пути чинили, потому что на перегоне мост подорван, и пока не починят — не уйдут. А починить им дня два-три.

— Значит, два-три дня он ещё там.

— Может, и так. Может, и не так. Я вам за них не расписываюсь.

Я взял его за рукав.

— Семён Петрович. Вы мне сейчас это можете повторить при другом человеке? Не мне. Человеку, который в этом понимает.

Старик посмотрел на меня.

— Ты чего задумал, сынок?

— Я пока ничего не задумал, — сказал я. — Я хочу, чтобы то, что вы видели, узнали те, кому положено. А дальше решать не мне.

Баранова, старшего разведгруппы, я нашёл к вечеру, в третьей избе от перекрёстка, и он сначала слушал вполуха, стоя спиной, и разбирал свой планшет.

Потом повернулся.

— Погоди. Он сам грузил?

— Сам. Второго дня.

— Платформа вторая от паровоза?

— Он так говорит. Под брезентом.

— Мост подорван на перегоне?

— Говорит, чинят.

Баранов сел.

— Гринёв, — сказал он, — ты понимаешь, что ты мне сейчас принёс? Мне вторую неделю обещают узнать, что у них на этом разъезде. У меня туда парень ходил и вернулся ни с чем, потому что он в вагонах не разбирается, ему всё крытое одинаковое.

— А мне нужен от него мотор, — сказал я. — Один. Который к станку.

— Один мотор, — повторил Баранов и посмотрел на меня как-то новым взглядом. — Ты хоть понимаешь, как это звучит?

— Понимаю. Поэтому и говорю сразу: я не прошу трогать эшелон. Я прошу узнать, можно ли взять с него одну вещь.

— Вот за это, — сказал он, — тебя когда-нибудь или наградят, или посадят. Веди своего старика, я с ним поговорю сам.

Круглова я привёл, и они сидели до темноты, и старик рисовал огрызком карандаша на обороте какой-то ведомости: вот пакгауз, вот насыпь, вот будка, вот тут они ставят часового, а вот тут не ставят, потому что там навалено шпал и не пройти.

Во двор МТС я вернулся по темноте. Пока мы были у Баранова, туда приезжал обозник с почтой.

Он оставил три письма на всё отделение и одно на меня. Тимохин передал мне конверт, и я сразу узнал почерк: мелкий, прямой, с сильным нажимом на концах слов, будто человек каждое слово ставит на место и прижимает.

Я отошёл за угол сарая и там, у стенки, где не дуло, распечатал.

Александра писала коротко, потому что писала между делом: у них третий день идут обмороженные, и она сердится на это больше, чем на раненых, потому что раненых им привозит война, а обмороженных — чужая дурость и мокрые портянки. Спрашивала, сухие ли у меня ноги. Писала, что видела в госпитале нашего Селиванова, что рука у него срослась и что он всем рассказывает про Взгорье, привирая на треть.

И в конце, отдельной строчкой, без всякого перехода:

«У меня цел твой гребень. Я им причёсываюсь каждый день и каждый день считаю зубья, и всё думаю, как ты ухитрился выпилить шестнадцатый таким тонким. Он до сих пор не сломался».

Я стоял у стены сарая, где пахло машинным маслом и мёрзлым деревом, и, кажется, улыбался как дурак, потому что мимо прошёл Тимохин и на всякий случай сделал вид, что меня не заметил.

Вера пришла, как и обещала, ругаться про снаряды.

Она села на перевёрнутый ящик у ворот, вытянула ноги и сказала, что если завтра к обеду ей не подвезут новую партию со станции, она лично впряжётся в тягач.

— Наши пять от пней уже довезли, — сказал я. — Новая партия стоит у станции.

— Так я про новую и говорю. Подвоз опять застрял, а мне завтра стрелять.

— Завтра привезём. Подводами.

— Подводами, — фыркнула она. — Знаешь, Гринёв, я сегодня на разборе смотрела на этого Орлова и думала: ведь он же не сволочь. Он просто человек, которому дали батальон и не дали ни одной машины.

— Я знаю.

— И самое смешное, что он от твоего графика выиграет больше нас. Мы-то сами таскаем, а ему таскать нечем.

Она помолчала.

— Ты на курсы пойдёшь?

Я повернулся к ней.

— На какие курсы?

— Ой, — сказала она. — Значит, тебе ещё не сказали. Тогда я ничего не говорила.

Сказали мне через час.

Лавров пришёл сам, во двор, что было не в его обычае, и остановился у ворот, глядя на лист с заявками на гвозде.

— Прижилось, — сказал он.

— Прижилось, товарищ майор.

— Хорошо. — Он снял варежку и полез за пазуху. — Гринёв, разговор короткий. Есть разнарядка: два человека от полка на курсы младших лейтенантов. Ускоренные. Я тебя вписал.

Он достал сложенный вдвое лист и подал мне.

Я развернул.

Бумага была обыкновенная, серая, с фиолетовым штампом и от руки вписанной фамилией, и внизу стояло число, а рядом с числом — час, когда за отъезжающими придёт машина.

До отправления оставались завтрашний день и ночь. На эшелон столько времени нам никто не обещал.

— Товарищ майор, — сказал я. — Тут срок.

— Тут срок, — согласился Лавров. — Машина придёт послезавтра утром. Опоздавших ждать не будут, у них там свой график, не хуже твоего.

Я стоял с бумагой в руках, и мне было её и приятно держать, и неудобно, как чужую.

— Разрешите доложить, — сказал я. — Час назад мы с Барановым и с местным токарем разбирали сведения о немецком ремонтном эшелоне на разъезде за Сухим Логом. Там мотор

от вот этого станка. Без мотора мастерская мёртвая, а без мастерской у нас стоит тягач и стоит ещё неизвестно что, потому что токарь тут один на весь район.

Лавров молчал.

— И этот эшелон, — сказал я, — уйдёт, когда они починят мост. Может, раньше моей машины. Баранов проверяет; откладывать до моего отъезда нельзя.

— Понял, — сказал Лавров.

Он посмотрел на пустые салазки — их было видно от ворот, потому что Круглов так и не погасил там фонарь, — потом на тягач под навесом, потом на меня.

— Гринёв, — сказал он. — Ты сейчас будешь просить меня отменить одно из двух. Не проси. Я не буду отменять ни того, ни другого, потому что и то и другое нужно, и оба срока не мои.

— Я и не собирался просить, товарищ майор.

— Собирался, — сказал он. — Но правильно, что не стал.

Он надел варежку.

— Про эшелон я сегодня же доложу и Баранова поддержу. Разрешат или нет — не от меня. А бумагу свою убери во внутренний карман и не потеряй, их не выписывают дважды.

Он ушёл, а я остался стоять у ворот с этим листком.

В сарае гудел ветер в трубе. Под навесом стоял тягач с открытым кожухом, у станка за перегородкой светил фонарь над пустыми салазками, а за огородами, в темноте, в восьми километрах отсюда, стоял на разъезде чужой поезд с трубой, как у бани, и в нём под брезентом лежала железная штука с криво заваренной лапой.

Я сложил направление вчетверо и убрал во внутренний карман, к письму.

Потом позвал Тимохина:

— Найди Юдина. Скажи, чтоб пришёл сюда. И пусть захватит списки — те, что у него в планшете, по отделению, с обувью и с патронами.

— Сейчас?

— Сейчас.

Юдин пришёл через десять минут, запыхавшийся, с планшетом под мышкой, и посмотрел на меня настороженно, как смотрят на командира, который зачем-то вызвал ночью.

— Садись, — сказал я и подвинул ему второй ящик. — Разбираем по порядку: кто у нас завтра в наряде, у кого что из имущества, кому что должны и кто чего не умеет.

— А зачем сейчас, товарищ сержант? — спросил он. — Мы ж это в воскресенье делали.

Я освободил перед Юдиным место на крышке ящика и отодвинул свои бумаги.

— Затем, что в воскресенье делали мы с тобой, — сказал я. — А теперь делаешь ты, а я слушаю.

Глава 4

Пустые салазки под станком были обидно чистые. Там, где полгода стоял мотор, чугун не ржавел, и на тёмном от масла полу остался светлый прямоугольник с четырьмя дырами по углам, и в дырах торчали обломанные болты.

— Вот и весь разговор, — сказал Круглов. — Станок есть, резец есть, я есть. Крутить нечем.

Лавров вернулся в мастерскую незадолго до полуночи. Я вынул выданное им направление, и он сверил фамилию и срок.

— Гринёв, — сказал он. — Сборный пункт — Кубинка. Машина за сержантами придёт послезавтра в восемь утра. Сутки с небольшим у тебя есть, и я тебе их не подарю, а сдам под расписку: за сутки ты мне должен вернуть тягач в строй и передать отделение так, чтобы я потом не бегал искать, кто у них старший.

— А эшелон?

— А эшелон уйдёт утром. — Он посмотрел на Круглова. — Семён Петрович говорит, ночью ещё стоит.

— Стоит, — сказал Круглов. — Мне бабы с водокачки сказали, они там кипяток немцам таскают. На третьем пути, ремонтный. Платформа с барахлом, два крытых, паровоз под парами держат, но сцепки не тянуты.

Лавров вернул мне лист. Я ещё раз прочитал строку с датой и убрал направление за пазуху.

— Товарищ майор, разрешите работать по порядку. Сначала мотор, потом отделение, потом курсы.

— По порядку — это как?

— Мотор — сегодня ночью и только мотор. Не эшелон, не эффектный налёт на станцию. Один предмет, известный, с известным весом.

Лавров дождался, пока я застегну карман.

— Баранов пойдёт старшим. Он уже был у начальства, ему разрешили ограниченный выход с отходом до четырёх ноль-ноль. Слушай его и не бегай впереди. — Он помолчал. — И вот что, Гринёв. Если ты там хоть одного человека положишь ради железа, я тебе это железо в личное дело вложу.

Он ушёл. Круглов вытер руки о фартук, поверх которого была надета телогрейка, и сказал:

— Пойдём, покажу, чего вы там искать будете. А то принесёте мне чужую железяку.

Мотор он показал на соседнем, разбитом станке — такой же, говорил он, «в аккурат брат». Чугунная станина, лапы с четырьмя отверстиями, клеммная коробка сбоку, вал с насаженным шкивом.

— Вес? — спросил Жаров.

— Пудов семь. Может, семь с четвертью.

Жаров обошёл станок кругом и потрогал станину сверху, потом сбоку, потом присел и посмотрел снизу.

— Семён Петрович. Вот тут, за станину, поднимать можно?

— За станину можно. За коробку нельзя, оторвёшь. За вал не вздумай, погнёте — и всё, привозите обратно, я его вам не выправлю. — Он показал пальцем в потолок, на балку с крюком, под которой у него стоял станок. — У меня вот она, балка. Я его сюда на таль подниму. А у вас там балки не будет, у вас будут руки и верёвка. Значит, вязать надо так, чтоб он в верёвке сидел, как в люльке.

— А клеммы?

— Клеммы мне нужны. Если оторвут провода под корень, я их вытяну, но там ещё крышка, и если крышку потеряете, зимой в неё натечёт. — Круглов посмотрел на меня. — Слышишь, сержант? Крышка маленькая, а без неё мотор — не мотор.

— Крышка, — повторил я и загнул палец. — Запомнил.

— И болты с шайбами, какие на лапах остались. Мои-то вон, обломаны. Если у ихнего лапы целые с болтами — снимайте вместе.

— Ещё что?

Круглов задумался и назвал ещё три вещи: шкив с вала снимать не надо, пусть едет как есть; если рядом лежит пусковое сопротивление в ящике — брать, это к мотору; а вот трансмиссионные ремни не брать ни в коем случае, потому что своих у него хватает, а чужие будут лишний вес.

Вот это меня и успокоило. Мы не собирались грабить эшелон. Мы собирались взять одну вещь и четыре мелочи к ней, и я мог всё это перечислить вслух и потребовать повторить.

Тимохин попробовал вязать. Он взял конец верёвки и завёл его вокруг станины разбитого мотора так, как ему показалось правильным, — с одного захода, петлёй под самый низ.

Круглов посмотрел и снял верёвку с мотора.

— Переделай.

— А чего?

— Того. Ты его сейчас поднимешь, он крутанётся и сядет тебе на руку. Заводи с двух сторон и выше середины. — Мастер показал руками. — Груз висит спокойно, когда верёвка выше его пуза. А ты ему под брюхо подлез.

Тимохин переделал. Со второго раза Круглов кивнул, а с третьего сам взялся за петлю и дёрнул вниз, проверяя.

— Вот. Теперь он у тебя не поедет.

— Тимохин, — сказал я, указывая на разобранный мотор. — Кто снимает?

— Мы с Николаем Степановичем.

— А ты что делаешь, когда его сняли?

— Принимаю на тележку.

— Куда именно принимаешь?

Он замялся. И тут выяснилось то, ради чего я и спрашивал: он знал слова «на тележку», но не знал, что тележка стоит на рельсах, а уходить нам придётся не по рельсам.

— Значит, так, — сказал я. — Тележку мы катим по путям до стрелки, а дальше рельсы поворачивают не туда, куда нам надо. Там мы мотор с тележки снимаем и несём на руках — сколько?

— Сколько-то, — сказал Тимохин.

— Шагов двести. По насыпи вниз, потом по канаве. Четверо несут, двое меняют. Ты сейчас представь эти двести шагов, и если у тебя там есть непонятное место — скажи сейчас, а не когда мы будем стоять с семью пудами на весу.

Тимохин честно представил. Я видел, как он представляет: у него зашевелились губы.

— Спуск с насыпи, — сказал он. — Там наледь. Мы его на спуске уроним.

— Правильно. Хвостов!

Хвостов оторвался от своего дела — он подгонял древко к какой-то железке — и посмотрел.

— На спуске делаешь ступени. Заранее, до всего. Лопату возьмёшь у Круглова.

— Сделаю, — отозвался Хвостов.

Круглов указал за горн:

— Лопата там. Только верни. Черенок сам сушил.

К Баранову мы вышли в половине первого. Он ждал у крайней избы с разведчиком — маленьким, в маскхалате поверх ватника, с мокрым от снега лицом.

— Стоит, — сказал разведчик, не здороваясь, и показал в сторону путей. — Только состав сдвинулся. Платформа теперь не против водокачки, а дальше, против пакгауза, шагов на сорок.

— Караул? — спросил Баранов.

— Парный. Ходят от паровоза до третьего вагона и обратно. Между вторым крытым и платформой промежуток, там они не ходят, там кучи щебня и не видно ничего.

— Провод?

— Есть провод. От будки к первому вагону. По земле лежит, присыпан.

Осипов, который до этого молчал, сказал:

— Один?

— Один я видел.

— Значит, буду резать тот, который вижу. — Осипов посмотрел на меня. — Андрей Кузьмич, только я вам сразу скажу: я им связь не отключу. Я перережу одну линию, которую мы нашли. У них может быть ещё и рация в вагоне, и посыльный на ногах.

— Понял. Мне и не надо отключать. Мне надо, чтобы будка не позвонила первой.

Баранов разложил на колене клочок бумаги и провёл ногтем.

— Тогда так. Заходим за складской насыпью, там нас не видно ни от будки, ни от паровоза. Отход — обратно тем же местом, сбор у сожжённой цистерны, время — четыре ноль-ноль, и это не пожелание. В четыре я снимаюсь с теми, кто есть.

— С теми, кто есть? — переспросил Тимохин.

— С теми, кто есть, — спокойно повторил Баранов. — Поэтому ты будь среди тех, кто есть.

Он поднял глаза на Юдина.

— Ты держишь промежуток между вторым крытым и платформой. Не догоняешь, не преследуешь, не гонишься за тем, кто от тебя побежал. Если побежал — значит, он уже кому-то кричит, и твоё дело не он, а проход. Понял?

— Понял, — сказал Юдин.

Я посмотрел на него сбоку. Он за эти месяцы вытянулся и осунулся, и голос у него стал ниже, и то, что раньше он говорил с придыханием, теперь говорил ровно. Но ответил он не «есть», а «понял» — и я знал, что это значит: он ответ обдумал.

Снег шёл редкий и косой, с ветром вдоль путей, и это было хорошо, потому что вдоль путей сносило и наши следы, и наш звук.

За складской насыпью мы пролежали минут двадцать. Оттуда были видны платформа и её груз: тёмная куча под брезентом, из-под которой торчали углы, и на самом краю, под самым бортом, — мотор. Его нельзя было спутать: круглый, приземистый, с торчащим валом, и он стоял отдельно от всего, снятый и приготовленный к погрузке в крытый.

— Они его сами сняли, — шепнул Жаров мне в ухо. — Он уже на подушках стоит, на шпальных обрезках. Нам его только с борта спустить.

— Хвостов, ступени?

— Готовы. Четыре штуки, и внизу я насыпал.

Караульные прошли к паровозу и обратно. Я сосчитал: от разворота до разворота — сто десять шагов, и на промежуток между вторым крытым и платформой они не заглядывали ни разу, потому что там были кучи щебня и туда надо было лезть.

Баранов тронул меня за плечо и показал двумя пальцами вперёд.

Юдин с двумя бойцами ушёл первым и растворился у щебня. Осипов пополз влево, к присыпанному проводу, и я потерял его почти сразу — он полз хорошо, по-кошачьи, как ползают связисты, которые всю жизнь таскают катушку на пузе.

Мы с Хвостовым вышли к платформе.

Площадка у мотора была завалена — вот это и была первая работа, о которой я заранее не подумал и которую увидел только вблизи: чтобы снять мотор с борта, надо было сначала убрать две снятые мостовые накладки, тяжёлые, скользкие, и моток проволоки.

Хвостов взялся за первую накладку, и она пошла с таким звуком, что у меня внутри всё оборвалось, — по железу, длинно.

Мы замерли.

Караульный у паровоза остановился, повернулся, постоял. Ветер бросил в нас снегом.

Он пошёл дальше.

Дальше мы таскали накладки по одной, с прокладкой из моей шапки под нижний край, и это было медленно, и я всё время чувствовал спиной, сколько минут уходит.

— Чисто, — выдохнул Хвостов.

Жаров и Тимохин поднялись на платформу. Верёвку они завели, как учил Круглов, — с двух сторон, выше середины. Я стоял внизу, сбоку, не под грузом, и держал конец, чтобы мотор не пошёл маятником.

Он пошёл вбок на первом же дюйме.

— Стой, — сказал Жаров, не повышая голоса ни на волос. — Стой, стой. Лапой зацепился.

Мотор висел на четверть пальца над своими шпальными обрезками, и задняя лапа у него зашла под окантовку борта — та самая лапа с целыми болтами, которую велел брать Круглов.

— Хвостов, освободи проход, — сказал Жаров. — Вон тот кусок убери, он мне под ногу лезет. Тимохин, не тяни. Не тяни, я сказал. Дай слабину на пол-ладони.

Тимохин дал. Жаров изменил угол — чуть-чуть, качнув верёвку от себя, — и лапа вышла.

И в эту секунду со стороны паровоза крикнули.

Крикнули не нам. Крикнули кому-то своему, но громко и тревожно, и сразу за этим ударила очередь — не по нам, вдоль состава, наугад, — и щебень у второго крытого зашуршал, и я услышал, как отвечает Юдин: два коротких, потом ещё два.

— Работаем, — сказал Жаров. — Не бросай верёвку. Опускай ровно.

Вот тут я понял одну вещь, которую раньше знал словами, а теперь узнал телом: быстро получается не тогда, когда все начинают дёргаться, а когда каждый продолжает своё.

Мотор сел на тележку. Тележка просела и заскрипела. Тимохин с Хвостовым уже вязали его к раме — накрест, как показывал Круглов.

— Крышка! — крикнул я. — Тимохин, коробка!

Он на секунду завис, потом сообразил, скользнул обратно на платформу, отвинтил — пальцами, без ключа, там была барашковая гайка — маленькую жестяную крышку, сунул за пазуху и спрыгнул.

Пусковой ящик лежал там же. Я взял его сам, потому что он был лёгкий.

Со стороны паровоза лязгнуло — длинно, по всему составу, от головы к хвосту: паровоз выбирал сцепки.

Баранов свистнул.

Свист был условленный: один длинный — прекратить набор, всё, что не в руках, оставить.

Я обернулся. Наш второй боец — Сёмушкин, из последнего пополнения, здоровый парень с деревенскими руками, — стоял у крытого с ящиком инструментов, который он успел выволочь, и ящик был тяжёлый, литой, из тех, которые жалко бросать именно потому, что они хорошие.

— Бросай! — крикнул я.

Он не бросил. Он потащил его к нам — а между ним и нами была сцепка, и через сцепку с таким ящиком не перелезешь, а обходить надо было в другую сторону, где ходил караул.

Я оставил пусковой ящик на тележке и пошёл к нему.

Он уже лез. Он поставил ящик на буфер, полез сам, и ящик пополз, и он ухватил его и повис между двумя вагонами, в том самом месте, где через полминуты должны были сойтись сцепки.

— Руку!

Он посмотрел на меня поверх ящика, и в лице у него было упрямство, и вот это упрямство меня по-настоящему напугало.

— Сёмушкин. Ящик — бросай. Руку — давай.

Он разжал пальцы. Ящик упал между путей с тем звуком, с каким падает всё хорошее и ненужное. Я поймал его за запястье с другой стороны сцепки и вытянул к себе, и он перевалился, ободрав щёку о буфер, и мы побежали.

Состав двинулся, когда мы уже были на насыпи. Он двигался медленно, лениво, и лязг шёл по нему волной, и под этот лязг нас не было слышно совсем.

На спуске Хвостовские ступени себя оправдали. Мы сняли мотор с тележки наверху — тележка была рельсовая, дальше ей хода не было — и понесли вчетвером, а Хвостов и Сёмушкин шли рядом и меняли по счёту. Двести шагов оказались длиннее, чем двести шагов. На середине канавы Тимохин поскользнулся, и мы поставили мотор прямо в снег, и стояли над ним, дыша, как загнанные лошади, и я считал секунды и не давал считать вслух.

У сожжённой цистерны Баранов пересчитал людей.

— Восемь. Все.

— Линию резал? — спросил он у Осипова.

— Резал. Ту, которую видел, у самой будки, и концы развёл в стороны, чтоб не сразу срастили. — Осипов вытер нос рукавицей. — Только они всё равно заорали. Значит, у них было чем крикнуть и без провода.

— Значит, было, — сказал Баранов. — А будка молчала, и нам этого хватило.

Юдин стоял без шапки — потерял её у щебня — и волосы у него были мокрые и уже схватывались на морозе. Он шагнул к Баранову.

— Товарищ сержант, я не пошёл за ним.

— За кем? — спросил Баранов.

— За тем, который побежал. Он побежал вдоль пакгауза, и у меня был сектор, и я его отпустил, как приказано.

— Правильно отпустил, — сказал Баранов.

— Он потом кричал, — сказал Юдин с непонятной обидой. — Из-за него и стрелять начали.

— Он бы и без тебя кричал, — сказал я. Юдин повернулся ко мне. Только ты бы в это время был у пакгауза, а не в проходе, и они бы вышли нам в спину.

Мотор мы проверили тут же, при свете Барановского фонаря, прикрытого рукой. Четыре лапы с болтами — целы. Клеммная коробка — на месте, крышка — у Тимохина за пазухой, он её вынул и показал, и на ней остался отпечаток его же пальца в масле. Вал — прямой; Жаров проверил, прокатив ладонью, и сказал: «Не бит».

Пусковой ящик остался на тележке у стрелки. Я вспомнил об этом на середине канавы. Возвращаться под выстрелы за ним не стал и никого не послал.

За тот ящик с инструментом, который я бросил между вагонами, у меня внутри осталась заноза, и она сидела всю дорогу. Хороший был ящик.

Но в мастерскую мы принесли то, за чем шли, и людей принесли столько же, сколько взяли.

Круглов не спал. Он сидел на табурете у холодного горна в телогрейке и валенках, и когда мы внесли мотор на двух жердях, он не вскочил и не обрадовался, а показал пальцем:

— Туда. На верстак не ставь, верстак не выдержит. На пол, на доски.

Потом он присел над мотором, как ветеринар над скотиной, и стал его смотреть: лапы, вал, коробку. Крышку взял у Тимохина, обтёр о фартук, приставил на место, покрутил барашек.

— Это ваша?

— Тимохин снял.

— Молодец Тимохин. — Он отложил крышку. — А пусковой ящик?

— Остался на тележке, — сказал я. — Когда снимали мотор, забыли. Потом было поздно возвращаться.

Круглов помолчал над разложенным железом.

— Людей из-за него не гоняй. Свой подберу от разбитого станка, только повозиться придётся. — Он нагнулся снова. — А вот это гнутое. Вот эта планка. Кто на неё наступил?

— Я, — сказал Хвостов. — На платформе.

— Значит, выбросим. У меня своя найдётся, я такие сам режу. — Круглов поднялся, охнув. — Николай Степанович, ты мелочь-то сохранил? Болты с шайбами?

Жаров вынул из кармана тряпицу и развернул её на верстаке. Восемь болтов, десять шайб, две гайки.

— Вот за это спасибо, — сказал Круглов. — Без этого я бы тебе до обеда искал, чем прижать.

Мне досталось смотреть. Это было непривычно и, оказалось, полезно: я стоял и ничего не делал, кроме того, что подавал, когда просили, и таскал, когда говорили, и за эту ночь узнал про железо больше, чем за все свои прежние разговоры о нём.

Тимохину дали скребок и велели чистить посадочное место на салазках.

Он чистил минут пять, потом остановился.

— Семён Петрович, а чего мы время тянем? Он же встанет и так.

Круглов подошёл, забрал у него скребок, провёл им по салазкам и показал ученику на свет тонкую полоску слежавшейся грязи с окалиной.

— Встанет, — согласился он. — На вот этом встанет. И будет у тебя мотор стоять не на всех четырёх лапах, а на трёх с половиной. А ему крутиться. И он тебе всю ночь будет вот эту грязь трамбовать, пока не сядет косо, и вал у него пойдёт наперекос, и ремень слезет. Ты скребком сейчас три минуты работаешь, а мне потом неделю жить.

Тимохин взял скребок обратно и чистил уже без вопросов, и я заметил, что он стал чистить дольше, чем требовалось, — так бывает, когда человеку впервые объяснили, а не приказали.

Мотор поставили в четвёртом часу. Круглов затянул лапы накрест, не подряд, и подложил под одну тонкую пластинку, попробовав щупом зазор; потом долго возился с проводами и клеммами, бормоча под нос что-то злое про немцев, которые «жилу режут по живому, а не по колодке».

— Отойдите, — сказал он наконец. — Все отойдите, и руки уберите с железа.

Мы отошли. Пусковой ящик от разбитого станка уже стоял рядом, закреплённый на доске; Круглов проверил его ещё раз и включил рубильник.

Мотор взвыл, дрогнул и пошёл, и трансмиссионный вал под потолком закрутился, и по мастерской поплыл давно забытый здесь ровный гул, от которого сразу стало теплее, хотя теплее не стало.

Круглов слушал, наклонив голову.

Через полминуты он выключил.

— Чего? — сказал Жаров.

— Бьёт.

— Я не слышу.

— Ты машину слушаешь, а я станок. Мне на нём резец водить. — Круглов уже стоял на коленях с ключом. — Лапа третья. Я её перетянул, а надо было наоборот.

Он отпустил, переложил пластинку, затянул заново, и снова гонял вхолостую, и снова слушал, и только на третий раз сказал:

— Вот теперь ровно.

И даже тогда он не полез сразу к тому, что нам было нужно. Он взял из угла кусок какой-то старой оси, зажал в патрон и снял с неё стружку — тонкую, синеватую, завившуюся в спираль, — и после остановки станка подцепил эту стружку крючком, и посмотрел на неё, и только после этого повернулся к нам:

— Ну, показывай свой шкив.

Шкив с тягача Жаров принёс ещё с вечера. Он положил его на верстак рядом с обломком старого ремня и ничего не стал объяснять — просто положил рядом.

Круглов взял шкив, покрутил, провёл пальцем по ободу и остановился.

— Тимохин, иди сюда. Палец давай. Не бойся, не порежет, он тупой уже. Чувствуешь?

— Заусеница, — сказал Тимохин, не убирая пальца.

— Заусеница. А теперь смотри на ремень.

На обрезке ремня, у самого края, шла ровная косая насечка — как будто кто-то методично, по сантиметру, резал его ножом.

— Это она и резала, — сказал Круглов. — Каждый оборот по разу. Он у вас сколько прошёл?

— Один рейс с пушкой и обратно, — сказал Жаров.

— И порвался.

— И порвался.

— А ты его подтягивал?

Жаров помолчал.

— Подтягивал. Два раза.

— Вот и всё, — сказал Круглов и положил шкив на верстак ободом кверху. — Вот тебе, Тимохин, вся наука. Ремень грелся, потому что его резало. Николай Степанович, как человек честный, подтягивал — и прижимал его к этой самой заусенице плотнее. Чем он больше о нём заботился, тем быстрее его губил. А виновата железка на семь копеек.

Тимохин посмотрел на Жарова. Жаров пожал плечами — без обиды, спокойно, как человек, который в своём деле давно перестал стыдиться того, что не всеведущ.

Глава 5

— В поле я его иначе и не мог, — сказал он. — В поле у меня выбор: подтянуть или встать посреди дороги с пушкой на крюке.

— И правильно подтянул, — сказал Круглов. — Это называется — довезти. А теперь будет называться — починить. Разница в том, что после починки ты про этот шкив год не вспомнишь.

Заготовку он выбрал из четырёх, простукав каждую. Потом мерил — и мерить заставил Тимохина, вдвоём, с обеих сторон, и трижды переспрашивал цифру, пока Тимохин не начал злиться.

— Я же сказал уже.

— А я тебе третий раз спрашиваю, потому что если ты соврал на полмиллиметра, я это узнаю через два часа работы, а ты — через неделю, когда ремень опять слезет. Давай ещё раз.

К рассвету стружка шла уже непрерывно, и Круглов стоял у станка, чуть сгорбившись, и лицо у него было такое, какого я у него раньше не видел: не усталое и не довольное, а отсутствующее. Он был там, у резца, и нас в мастерской не было.

Мне пришлось уйти: в шесть я должен был показаться у Бортникова, а в семь развести смены. Уходя, я велел Тимохину сменяться с Хвостовым каждые два часа и обязательно выспать Жарова хотя бы час.

— Зачем? — сказал Тимохин. — Мы и так дотянем.

— Жаров поведёт машину на пробу. Я не хочу, чтобы он вёл её после суток без сна. Он не для тебя спит, а для тех, кто на ней поедет.

Ремень искали уже утром, и это оказалось отдельным делом, которого я тоже не предвидел.

Я почему-то думал, что если есть станок, то на нём можно сделать всё. Круглов на это только фыркнул:

— Я тебе ремень не выточу. Ремень — не железо.

Жаров ходил по ремонтному хозяйству полдня. Он принёс три: один сразу отложил в сторону, потому что у него на изнанке шла сеточка трещин — «он год в холодном сарае лежал, он тебе лопнет на первом морозе»; второй померил и забраковал по ширине, узкий; третий, кожаный, сшитый, с латунными скрепками, он мял в руках долго, гнул на излом, смотрел на свет.

— Вот этот, — сказал он наконец. — Шов у него на совести, но кожа живая.

Новый шкив сел на вал в третьем часу дня.

Первый пробный проход сделали без людей и без груза — метров триста по посёлку и обратно. Тимохин шёл рядом с машиной пешком и смотрел на ремень, как велели, и когда тягач остановился, доложил:

— Ползёт. К краю ползёт, к наружному.

— Сколько? — спросил Жаров.

— Вот столько. — Тимохин показал пальцами.

Круглов, который стоял тут же, в телогрейке поверх фартука, поставил на раму какую-то свою железную линейку с угольником и померил положение шкивов друг относительно друга.

— Перекос, — сказал он. — Не в шкиве дело, я его ровно сделал. У вас кронштейн повело. Ещё в тот раз, наверное, когда рвало.

Кронштейн правили молотком и подкладками ещё час.

Второй проход делали уже с нагрузкой: положили в кузов мешки с песком, набрали примерно тот вес, который должен был поехать, и прошли круг побольше, с подъёмом от речки. Тимохин опять шёл и смотрел; ремень стоял на месте.

Только после этого позвали санитаров.

Жаров сам полез в кузов, обошёл его по кругу и вынес оттуда монтировку и две пустые железные банки.

— Это что? — спросил санитар.

— Это то, что на первом ухабе поедет носилкам под голову, — сказал Жаров. — Вот сюда кладите. Тут ровно и тут борт держит.

Раненых было четверо: трое лежачих и один сидячий, с рукой на перевязи. Их грузили долго, и я успел посмотреть только начало погрузки, потому что за мной уже прислали от Бортникова.

Я не стал подходить прощаться с машиной. Это было бы глупо: машина — не человек, а Жаров возвращался к вечеру.

Уже от угла я обернулся. Тягач стоял с работающим мотором, ровно, без той дрожи, которая у него была всю неделю, и пар от выхлопа шёл прямой струёй.

Круглов вышел к нему и сказал Жарову — я слышал через двор:

— Ты пиши, чего вам нужно. Я тут остаюсь. Мне район восстанавливать, а не за вами ездить.

— Диктуйте, — сказал Жаров и вынул свою замусоленную книжечку.

Мастер диктовал долго и по-хозяйски: какие резцы, какие свёрла, какой размер ремня взять, если попадётся, и куда всё это привозить, и кому сказать, если его самого не будет — «жена скажет, где я».

Жаров записал и прочитал ему вслух, сверяя цифры.

Тимохин в это время подметал в мастерской стружку — не потому, что велели, а потому, что Круглов утром сказал: «У кого стружка под ногами, у того и в голове стружка». Когда я проходил, он поднял голову:

— Товарищ сержант, а можно я в следующий осмотр крепёж сам проверю? Николай Степанович сказал — можно, если вы разрешите.

— Проверяй, — сказал я. — Только с ключом, а не пальцем.

— С ключом, — согласился он. — Пальцем — это не проверка.

Учебную тревогу я поставил на четыре часа дня, и это было единственное время, какое у меня оставалось.

Раньше нельзя было: те, кто ходил ночью, отсыпались, а проверять людей, которые не спали сутки, — значит проверять не выучку, а выносливость, и потом удивляться, что выучка плохая. Я дождался, пока их сменят, пока они поедят и часа три полежат, и только тогда пошёл к Юдину.

Он сидел у землянки и чинил чужую варежку — не свою, чью-то, с пришитой поверх прожжённого места заплатой из шинельного сукна.

— Юдин. Через полчаса тревога. Проводишь ты.

Он воткнул иглу в варежку и посмотрел на меня.

— А вы?

— А я постою с краю. Учебная, по третьему варианту: горит крайний сарай, за сараем — противник, резерв поднимается по вызову. Начало — твоё. Разбор — общий.

— Товарищ сержант, а если я сделаю не так, как вы делаете?

Вот тут я мог бы ответить красиво. Я ответил коротко, потому что времени не было:

— Тогда объяснишь.

Дымовую шашку я взял ту, что лежала у нас с осени в ящике, — приберегали, а она за зиму отсырела и давала дым ленивый, стелющийся, что нам как раз и было нужно.

В половине пятого Хвостов запалил её за сараем, и Юдин крикнул тревогу.

И первое, что я увидел, мне не понравилось.

Отделение поднялось, разобралось, Юдин отдал распоряжение — и все, все до одного, повернули головы ко мне. Не нарочно. Просто у них за три месяца выработалась привычка: сказано — посмотреть на Гринёва, Гринёв кивнёт или поморщится, и тогда уже бежать.

Я не кивнул и не поморщился. Я посмотрел на Юдина — нарочно долго, так, чтобы они по моему взгляду пошли за ним.

Дошло не сразу. Дошло со второй фразы, когда Юдин повысил голос и назвал фамилии.

Дальше я стоял у края площадки и смотрел, и молчал, и это оказалось физически трудно — молчать. У меня два раза само собой поднималось горло сказать.

А на третий раз я не выдержал.

Резерв — три человека — Юдин поставил не там, где я ставил его всегда. Всегда он стоял за баней, в мёртвой зоне, откуда два броска: направо к плетню, налево к канаве. Это место я нашёл сам, проверил сам и был им доволен, как бывают довольны хорошей находкой.

Юдин увёл резерв к погребице, на двадцать шагов левее и выше.

— Юдин! — сказал я.

Он обернулся. Отделение остановилось. Дым тянуло низко, вдоль огородов, и он полз ровно и густо, и пахло горелой резиной.

— За баню, — сказал я. — Резерв всегда за баней.

— Товарищ сержант, оттуда сегодня не видно Опарина.

— Что?

Юдин показал вдоль огородов, туда, где дым заволок проход.

— Опарина с Сёмушкиным не видно. От бани не видно. Ветер с утра зашёл, дым ложится в тот проход, и они из-за него пропадают, а от погребицы я их вижу и они меня.

Я открыл рот, чтобы сказать, что за баней две мёртвые зоны и что он не понимает, чего лишается.

И закрыл.

— Хвостов, — сказал я. — Возьми Дьячкова, идите к бане и станьте там, где резерв. И скажешь мне оттуда, видишь ли ты Опарина.

Они пошли. Я поднялся к Юдину на край погребицы: отсюда над плетнём были видны головы Опарина и Сёмушкина, а подход к бане тонул в сизом дыму. До Хвостова донеслось моё покашливание; секунды через сорок он отозвался.

— Не вижу! — крикнул Хвостов из дыма. — Не видать ни черта, товарищ сержант. Головой мотаю — не видать.

Я постоял ещё немного, глядя на этот низкий сизый дым, который шёл не туда, куда ходил всю прошлую неделю.

А потом я сделал то, чего мне очень не хотелось делать при всех: сказал.

— Отделение, слушай сюда. Резерв сегодня стоит у погребицы, и это правильно. Я вас всю зиму учил ставить его за баней — и я вас учил верно, но я сейчас ошибся. Я про место помнил, а про ветер забыл. Я его в голове оставил, каким он был вчера. Место не бывает хорошим само по себе, оно бывает хорошим при таком-то ветре и при таком-то снеге.

Кто-то — кажется, Дёмин — хмыкнул. Не насмешливо. Так хмыкают, когда услышали то, что сами видели, но не решались сказать.

— Второй заход, — сказал я. — Ведёт Юдин. Я не говорю ничего.

И я действительно не сказал ничего, ни разу, хотя один раз прикусил язык до боли.

Заход они провалили в середине — новенький, Кутепов, пришедший неделю назад, вместо того чтобы идти по канаве, пошёл верхом, по открытому, и красиво прошёл бы, если бы за плетнём кто-то был.

Я ждал, что Юдин сейчас его разнесёт. Я сам бы разнёс. Я знал даже, каким голосом: у меня для таких случаев был голос, которому я выучился ещё там, в прошлой жизни, — не крик, а низкое ровное «ты куда пошёл», после которого человеку хочется исчезнуть.

Юдин подошёл к нему и спросил:

— Ты что видел?

— Где?

— Со своего места. Ты стоял за углом. Что ты оттуда видел?

Кутепов подумал.

— Я плетень видел. И вон дерево.

— А канаву?

— Канавы не видел. Я про неё знал, что она есть.

— Знал, — сказал Юдин. — А не видел. — Он обернулся: — Опарин! Забери его и пройди с ним этот кусок ещё раз, только теперь ты первый, а он за тобой в трёх шагах, и на каждом повороте ты ему говоришь вслух, почему сюда, а не туда. Кондрат Силантьич, вслух — это условие.

— Понял, — сказал Опарин ворчливо. — Всю жизнь мечтал вслух.

Они прошли. Потом Кутепов прошёл один и прошёл правильно, и вылез из канавы с таким лицом, как будто нашёл деньги.

После отбоя мы с Юдиным стояли у землянки, и уже темнело, и дым над огородами расходился.

— Завтра смены как поставишь? — спросил я.

Он не полез в карман за бумажкой — значит, уже думал.

— Первая — Дёмин, Кутепов, Ерохин. Вторая — Хвостов с Дьячковым.

— А Сёмушкин?

— А Сёмушкина я вообще из первой смены убираю. Он ночью мотор тащил, потом за ящик держался, у него руки сейчас дрожат, я видел, как он ложку держал. Пусть до обеда спит. И Опарина не в первую: он с ночи хрипит.

— Ставь так, — сказал я. — Это твоё дело.

Он посмотрел на меня быстро и опять на снег.

— Товарищ сержант. Вы завтра уезжаете.

— Уезжаю.

— Мне сказали, я не поверил.

— Теперь верь.

Он помолчал, потом сказал то, чего я не ждал:

— Вы мне за баню не сердитесь?

— Юдин. — Я повернулся к нему. — Слушай меня внимательно, потому что второй раз такого случая у меня не будет. Если бы ты сегодня поставил резерв за баней, потому что так делает Гринёв, я бы тебе отделение не оставил. Я тебе его оставляю ровно за то, что ты его туда не поставил.

Ящик мы разбирали вечером, в комнате, при двух лампах.

Он стоял у стены — тот самый, который Хвостов сколотил осенью и который потом дважды переделывали: сперва крышка открывалась не в ту сторону, потом мы приделали к ней внутреннюю планку, чтобы карты не сползали. За зиму он оброс всем, чем обрастает такая вещь: картами, тетрадями, конвертами, огрызками карандашей, катушкой ниток, коробкой с чужими пуговицами.

Я открыл крышку и отошёл на шаг.

— Разбирайте.

— Как это — разбирайте? — сказал Осипов.

— Так. У каждой вещи здесь есть хозяин, и это не я. Берите своё.

Осипов полез первым и вытащил журнал связи — толстую тетрадь в клеёнке, разлинованную его же рукой.

— Этот я забираю. Только, Андрей Кузьмич... — Он замялся. — Меня могут в любой день на линию дёрнуть, я с батареей связан. Кто журнал вести будет, когда меня нет?

Вот это был правильный вопрос, и я обрадовался, что задал его не я.

— Юдин, — сказал я. — Отвечай ты.

Юдин подумал.

— Дёмин пусть пишет. У него рука разборчивая, и он в связи чего-то смыслит. Осипов, ты его посади на два вечера и покажи, куда что.

— Он у меня в графах утонет.

— Значит, сделай ему графы попроще. Половина твоих граф всё равно только тебе понятна.

Осипов посопел и согласился — но с условием, что сокращённые графы он утвердит сам.

Карты Юдин разложил на столе и стал смотреть по одной, и тут меня ждала расплата.

— Вот это что? — Он показал на угол листа, где у меня стояла карандашная закорючка и две точки.

— Это... — Я посмотрел. — Это я осенью отмечал, где у них пристреляно.

— А точки?

— Точки — время. Одна точка — они били утром, две — вечером.

— А почему не написано?

— Потому что я писал для себя.

Юдин положил карандаш.

— Товарищ сержант, а вот эта петля? Вот тут, у мельницы.

— Это потом разберёшься.

Он не отошёл от стола.

— Я потом не разберусь. Я потом буду сидеть тут один и гадать, что вы имели в виду, и людей поведу по своей догадке.

Он был прав, и он был прав именно так, как бывает прав человек, который уже принял на себя дело.

Мы сидели над картами ещё сорок минут. Я расшифровывал всё: петлю у мельницы (там весной прошлого года была гать, мне сказал старик из Дьяковки, и я собирался проверить, да не успел), крестики у брода, пунктир вдоль просеки, которым я обозначал не дорогу, а то, что по ней ходят сани. Юдин переписывал всё это своей рукой прямо на полях, буквами.

— Криво выйдет, — сказал он.

— Зато читаемо.

Тетрадей у меня было две.

Одна — общая, с записями занятий, с теми самыми тремя обязательными действиями, которые в декабре подписал Лавров, с корявыми чертежами: как ставить пары, как сигналить, как выводить раненого. Эту я положил обратно в ящик.

Вторая была моя. В ней я писал то, что не годилось в учебную: чего я боюсь, что у меня вышло случайно, а что я потом сумел повторить, и что именно я сделал не так под Взгорьем.

Эту я сунул в вещмешок.

И на секунду мне стало стыдно — как будто я забираю у них что-то общее.

— Осипов, — сказал я. — В ящике остаётся всё, по чему можно работать. У меня в мешке — только то, по чему работать нельзя, потому что это мои сомнения, а не наука. Если я вам когда-нибудь пришлю оттуда что-то путное, я пришлю переписанным.

— Да ладно вам оправдываться, — сказал Осипов. — Забирайте.

Недописанное письмо задержало нас дольше карт.

Оно лежало в конверте вместе с письмом, на которое было ответом, — от сестры Голубцова, того, что погиб в ноябре у водокачки. Она спрашивала, где могила и есть ли на ней что-нибудь, чтобы найти.

— Я начал и встал, — сказал я Юдину. — Потому что я знаю, что мы её ставили, а что там сейчас — не знаю. Мы оттуда ушли в декабре. Там сейчас сорок седьмой полк.

— И вы не написали?

— Я не хочу ей написать «стоит», а она поедет после войны и не найдёт.

Юдин взял конверт и повертел.

— Тогда так. Осипов завтра по линии спросит у сорок седьмых, живёт ли ещё та берёза у ограды и цел ли столбик. Ответят — я напишу. Не ответят — я напишу, что не знаю и что мы спрашиваем.

— Только не тяни.

— Я не потяну, — сказал он и написал на конверте сверху карандашом: «отв. после Осипова».

Это была его пометка. Не моя. И порядок он взял свой: сначала выяснить, потом писать, — а я бы, наверное, написал сразу два письма, первое сейчас, второе потом.

Я не стал исправлять.

Письма Александры лежали отдельно, в холщовом мешочке, перевязанном тесёмкой, и их никто не тронул и не спросил, и я забрал мешочек и сунул за пазуху при всех, и это было правильнее, чем прятать.

Домашние адреса — матери, Нюрки — я переписал себе на отдельный листок и положил к письмам.

Потом взял котелок.

Он лежал в ящике в углу, завёрнутый в тряпицу, с вмятиной на боку и с дужкой, которую Опарин чинил ещё в ноябре, проволокой, аккуратно, в три витка.

Я развернул его, протёр снаружи и изнутри — он был чистый, но я всё равно протёр, — и снова завернул, и уложил в мешок так, чтобы он лёг на бок и не помял письмо Марии Даниловны, которое ехало рядом.

Юдин смотрел.

— Не отдали, значит.

— Она написала: сохрани до встречи. Значит, до встречи.

— А если не встретитесь?

— Тогда кто-нибудь встретится, — сказал я. — Но лучше я.

Зимина всё это время сидела в углу на табурете, с аппаратом на коленях, и не снимала.

Я её позвал сам, ещё утром, и она пришла к вечеру и спросила только: «Когда?» — и я сказал: «Когда будем разбирать». И вот она сидела и ждала, и за час не сделала ни одного кадра.

— Анна Владимировна, вы уснёте.

— Я работаю, — сказала она, не поднимая головы. — Вы сейчас делаете вид, что вы не прощаетесь, и это будет очень плохо видно, если я сниму вас сейчас. Через десять минут вы забудете про меня, и тогда я сниму.

Она сняла два раза.

Первый — когда Юдин переписывал мои закорючки на поля карты, а Осипов держал над ним лампу и заглядывал через плечо, и виден был угол открытой крышки и мои руки, вынимающие тетрадь.

Второй — уже в дверях, случайно, когда Юдин переставлял ящик.

Строить нас она не стала. Она вообще ничего не сказала, только потом, собирая аппарат, обронила:

— Отпечатаю два. Один вам вышлю, когда будет адрес. Второй останется у них.

Я вышел, вспомнил, что не поправил загнувшийся угол карты — он у меня всегда загибался, и я его всегда расправлял и придавливал коробкой с пуговицами, — и вернулся.

Ящик стоял уже не у стены, а на полшага ближе к окну, развёрнутый крышкой в другую сторону. Юдин сидел перед ним на корточках и перекладывал в нём верхний слой: тетради — направо, конверты — налево, катушку с нитками он вообще вынул и поставил на подоконник.

Мне захотелось сказать, что у окна дует и бумага сыреет.

— Всё нашёл? — спросил я.

Он поднял голову.

— Нашёл. Я тут по-своему разложу, ничего?

— Раскладывай, — сказал я и вышел.

Прощание вышло на кухне, и вышло само, потому что кухня была единственным местом, где к восьми вечера собирались все.

Никто не произносил речей. Дьячков разливал, Хвостов сидел у стены и чинил лямку, за окном подвывало, и на плите стоял чайник с отбитым носиком, из которого лили, придерживая крышку тряпкой.

Дьячков вытер руки и достал из-за печки палку.

— Вот, — сказал он. — Держи.

Это была указка. Настоящая, длинная, оструганная из сухой берёзы, с обточенным концом и с ручкой, обмотанной полоской кожи.

— Я тебе, Гринёв, вот чего скажу. Ты поедешь в школу, там у них карты на стенке. А ты будешь пальцем тыкать, как у нас. Пальцем тыкать — это не начальственно. Пальцем — это повар у котла.

— Спасибо, Аким.

— Погоди спасибать. — Дьячков забрал указку обратно, подошёл к столу и положил её вдоль столешницы, потом к расшатанной ножке, потом поднял и посмотрел вдоль, зажмурив глаз. — Ровная. Я три сушил, две повело. У начальства должна быть хоть одна прямая вещь.

Хвостов дождался, пока я сяду, и молча положил передо мной карандаш. Половинку карандаша, честно говоря, — но заточенную с двух концов, и один конец был мягкий, а другой химический.

— Пробуй, — сказал он.

— Чего пробовать?

— Того. Бумагу давай.

Я оторвал клок от газеты и провёл. Мягкий конец писал, химический — тоже, только надо было лизнуть.

— Идёт, — сказал Хвостов удовлетворённо. — А то я один раз такой подарил, а он не писал. Человек его месяц носил и меня всё это время вспоминал.

Сухари принёс Селиванов.

Он приехал с пустой тарой с хозяйственного двора — за бутылями и бидонами, — и сначала переделал своё дело: сам обошёл кухню, сам пересчитал, сам увязал в санях, и только потом отряхнул рукавицы и вытащил из-за пазухи узел.

— Агафья Никитична передала. Сказала: Гринёву, в дорогу, и чтоб не съел сразу.

Глава 6

Узел был тяжёлый и пах хлебом так, что за столом на секунду стало тихо.

— Разворачивай, — сказал Дьячков.

Я развязал. Сухари были ржаные, крупные, с солью, и ещё в тряпице лежал кусок сала, завёрнутый отдельно.

Я отсыпал половину на стол и придвинул к середине, а остальное завязал обратно.

— Всё-то не сыпь, — сказал Опарин с другого конца. — Правильно. А то мы дурные, мы съедим.

— Иван Матвеевич, — сказал я Селиванову. — Передайте ей, что дошло. И что я напишу, как будет адрес.

— Передам. — Селиванов сел на край лавки и взял кружку. — Она про тебя спрашивала, жив ли. Я сказал — живой, только замотанный.

Тимохин сидел у самого котла и уже минут пять ждал, когда его дослушают до конца, потому что он рассказывал, как надевали новый ремень на выточенный шкив, и его всё перебивали.

— …и я говорю: Николай Степанович, а чего мы возимся, я вам сейчас его накину — и всё. Я его беру, накидываю — раз! — и он у меня сел, и я говорю: готово.

— Готово, — подтвердил Жаров, не поднимая глаз от кружки.

— А он мне: «Погоди». А я ему: чего годить, он же стоит. А он...

— А я ему сказал, — перебил Жаров, — какой стороной ты его положил.

Тимохин замолчал.

— Ну, — сказал Дьячков. — И какой?

— Изнанкой наружу, — сказал Жаров. — Он его наизнанку надел. Гладкой стороной на шкив, шершавой — на воздух.

Стол заржал. Тимохин побагровел до ушей и сидел с открытым ртом, и я видел, как он решает: обидеться или досмеяться самому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.